



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG
3458
Z8M3

MALINOVSKI, I.
VOPROSY PRAVA V SOCHINEN-
IIAKH...



I. Малиновскій.

Вопросы права

въ сочиненіяхъ

А. П. Чехова.

Докладъ, читанный въ засѣданіяхъ Томскаго Юридическаго
Общества 9 и 30 октябрю 1904 года.

ТОМСКЪ.

Паровая-тапо-литографія П. И. Мазунина. Благоумн., пер., собо. л.
1905.





Malinowski, I. A.

І. Малиновскій.

Вопросы права

въ сочиненіяхъ

А. П. Чехова.

Донладъ, читанный въ засѣданіяхъ Томскаго Юридическаго
Общества 9 и 30 октября 1904 года.



ТОМСКЪ.

Паровая типо-литографія П. И. Макушина. Благовѣщ. пер., собс. д.

1905.



91

3

15618

27

27

Malmousski, I. A.

I. Малиновскій.

Вопросы права

въ сочиненіяхъ

А. П. Чехова.

Донладъ, читанный въ засѣданіяхъ Томскаго Юридическаго
Общества 9 и 30 октября 1904 года.



ТОМСКЪ.

Паровая типо-литографія П. И. Макушина. Благовѣщ. пер., собс. д.
1905.



ной юристу не было дѣла; въ то время мысль о тѣсной связи между правовѣдѣніемъ и художественной литературой показалаь бы по меньшей мѣрѣ странною.

Изученіе одного только дѣйствующаго законодательства недостаточно. Законъ—одна изъ формъ права, но не единственная. Рядомъ съ юридическими законами существуютъ юридическіе обычаи. И юридическіе законы и юридическіе обычаи имѣютъ свою исторію, изученіе которой безусловно необходимо для пониманія дѣйствующаго права. Матеріаломъ для историческаго изученія права служатъ памятники законодательства и памятники обычнаго права. Нормы обычнаго права хранятся въ народномъ правосознаніи; сборники нормъ обычнаго права составляютъ рѣдкое явленіе. Откуда же мы почерпаемъ наши свѣдѣнія объ обычномъ правѣ? Изъ самыхъ разнообразныхъ памятниковъ исторической жизни даннаго народа, а въ томъ числѣ и изъ памятниковъ литературы. Памятники литературы являются для историка юриста памятниками обычнаго права. Такъ, напримѣръ, при изученіи исторіи древнѣйшаго русскаго права историкъ юристъ пользуется и „Лѣтописью“, и „Поученіемъ Владиміра Мономаха“, и „Словомъ о полку Игоревѣ“, и „Словомъ Даніила Заточника“, и „Житіями святыхъ“ и т. п. Между правовѣдѣніемъ и литературой, вообще, и художественной литературой, въ частности, устанавливается связь: литература есть памятникъ обычнаго права, и при томъ иногда—памятникъ единственный. А слѣдовательно, юристъ, изучающій обычное право, долженъ обратиться къ памятникамъ литературы.

Литература можетъ быть и памятникомъ законодательства: на основаніи фактовъ, сообщаемыхъ въ литературномъ произведеніи, можно сдѣлать заключеніе о юридическихъ законахъ. Напримѣръ, на основаніи фактовъ, сообщаемыхъ въ „Мертвыхъ душахъ“ Гоголя, можно сдѣлать заключеніе о тѣхъ юридическихъ законахъ, которыми опредѣлялись отношенія между помещиками и крестьянами, которыми опредѣлялся порядокъ мѣстнаго управленія и т. п. Но нѣтъ надобности пользоваться художественной литературой для этой цѣли, ибо есть путь болѣе легкій: непосредственное знакомство съ сборниками дѣйствующихъ законовъ.

Таково первое значеніе художественной литературы для правовѣдѣнія.

Художественная литература имѣла и имѣетъ еще другое болѣе важное значеніе для правовѣдѣнія: художественная литература, изображая различныя явленія общественной жизни, даетъ оцѣнку дѣйствующаго положительнаго права и указываетъ идеалы въ области права. И если съ точки зрѣнія того новѣйшаго направленія научной юридической мысли, которое называется возрожденіемъ естественнаго права, задачей правовѣдѣнія является широкая и свободная идеологическая критика положительнаго права, критика съ точки зрѣнія соответствія положительнаго права правовымъ идеаламъ общества, то между правовѣдѣніемъ и художественной литературой существуетъ тѣсная и неразрывная связь. Художественная литература, насколько она касается вопросовъ права, союзникъ правовѣдѣнія и притомъ союзникъ весьма сильный. Сила ея заключается въ ея неотразимомъ вліяніи на общество.

Одни и тѣ же юридическія идеи проводятся въ научномъ юридическомъ сочиненіи и въ произведеніи художественной литературы. Но научное сочиненіе находитъ десятки или сотни читателей, произведеніе художественной литературы находитъ — тысячи, десятки и сотни тысячъ читателей. Недавно появилась на нашемъ книжномъ рынкѣ чрезвычайно интересная книга: „Нужды деревни по работамъ комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности“. Въ этой книгѣ мы встрѣчаемъ оцѣнку современнаго юридическаго положенія крестьянъ и указаніе на идеалы будущаго. То же самое встрѣчаемъ мы въ разсказахъ Чехова — „Мужики“, „Моя жизнь“, „Новая дача“ и др. Но „Нужды деревни“ найдутъ сотни читателей, а разсказы Чехова — сотни тысячъ читателей. Таково обыкновенно сравнительное вліяніе науки и искусства. Наука доступна немногимъ, художественная литература и, вообще, искусство дѣйствуетъ на массы. Иллюстраціей этой мысли можетъ служить разсказъ Чехова „Дома.“

Прокуроръ Быковской вернулся изъ засѣданія суда домой. Гувернантка должила ему, что Сережа (его сынъ, семилѣтній мальчикъ) курить, для чего беретъ у него на столѣ табакъ. Про

куроръ призываетъ Сережу и начинаетъ говорить о томъ, что онъ не имѣетъ права брать чужой табакъ и что курить не хорошо. Это нравоучение никакого впечатлѣнія на мальчика не произвело. И прокурору „казалось страннымъ и смѣшнымъ, что онъ, опытный правовѣдъ, полжизни упражнявшійся во всякаго рода престѣпеніяхъ, предупрежденіяхъ и наказаніяхъ, рѣшительно терялся и не зналъ, что сказать мальчику.

Пробило десять часовъ.

— Ну, мальчикъ, спать пора, — сказалъ прокуроръ. — Прощайся и иди.

— Нѣтъ, папа, — поморщился Сережа, — я еще посижу. Расскажи мнѣ что ни будь! Расскажи сказку“.

И прокуроръ рассказалъ сказку. Это была импровизація, экспромптъ. Мораль сказки та же — нехорошо курить.

На Сережу сказка произвела сильное впечатлѣніе. Онъ поглядѣлъ на окно, „вздрогнулъ и сказалъ упавшимъ голосомъ:

— Не буду я больше курить“...

Когда Сережа ушелъ, прокуроръ началъ размышлять: „Почему мораль и истина должны подноситься не въ сыромъ видѣ, а съ примѣсами, непременно въ обсахаренномъ и позолоченномъ видѣ, какъ пилюли? Это ненормально... фальсификація, обманы... фокусы“... Вспомнилъ онъ присяжныхъ засѣдателей, которымъ непременно нужно говорить рѣчь, публику, усваивающую исторію только по былинамъ и историческимъ романамъ, себя самого, почерпавшаго житейскій смыслъ не изъ проповѣдей и законовъ, а изъ басенъ, романовъ, стиховъ. „Лѣкарство должно быть сладкое, истина красивая... И эту блажь напустилъ на себя человекъ со временъ Адама... Впрочемъ... быть можетъ, все это естественно и такъ и быть должно... Мало-ли въ природѣ цѣлесообразныхъ обмановъ, иллюзій“.

Талантливое произведеніе художественной литературы производитъ неотразимое впечатлѣніе на читателей, ибо талантъ, по словамъ Чехова, это — „стихійная сила, это ураганъ, способный обращать пыль въ камни... Человѣческой немощи бороться съ талантомъ такъ же трудно, какъ глядѣть, не мигая, на солнце, или остановить вѣтеръ. Одинъ простой смертный силою слова обращаетъ тысячи убѣжденныхъ дикарей въ христіанство, Одис-

сей былъ убѣжденнѣйшій человѣкъ въ свѣтѣ, но спасоваль передъ сиренами, и т. д. Вся исторія состоитъ изъ подобныхъ примѣровъ, а въ жизни они встрѣчаются на каждомъ шагѣ“. (Сильныя ощущенія).

Юридическія идеи, которыя проводятся въ произведеніяхъ художественной литературы, постепенно переходятъ въ общественное сознаніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ то, что представлялось раньше отдаленнымъ идеаломъ, становится дѣйствительнымъ фактомъ. Такимъ образомъ, художественная литература является однимъ изъ факторовъ, способствующихъ прогрессивному развитію права. И если съ точки зрѣнія соціологическаго направленія юридической мысли задача юридическихъ наукъ заключается въ изученіи права, какъ историческаго и соціальнаго явленія, въ связи со всѣми другими явленіями общественной жизни, то понятно важное значеніе художественной литературы для правовѣдѣнія и съ этой соціологической точки зрѣнія.

И такъ, связь художественной литературы съ правовѣдѣніемъ и значеніе художественной литературы для правовѣдѣнія состоитъ въ томъ, что 1) художественная литература есть памятникъ положительнаго права и 2) художественная литература даетъ оцѣнку положительнаго права, указываетъ идеалы права и, такимъ образомъ, способствуетъ прогрессивному развитію права.

Изученіе сочиненій А. П. Чехова съ этихъ точекъ зрѣнія представляетъ большой интересъ для юриста. Въ пьесѣ Чехова „Чайка“ писатель Тригоринъ говоритъ: „Я люблю вотъ эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждаетъ во мнѣ страсть, непреодолимое желаніе писать. Но вѣдь я не пейзажистъ только, я вѣдь еще гражданинъ, я люблю родину, народъ, я чувствую, что если я писатель, то я обязанъ говорить о народѣ, объ его страданіяхъ, объ его будущемъ, говорить о наукѣ, о правахъ человѣка и проч. и проч.; и я говорю обо всемъ“.

Писатель, какъ гражданинъ, обязанъ говорить о *правахъ человека*. И Чеховъ весьма часто въ своихъ сочиненіяхъ касается этого вопроса о правахъ человѣка.

Въ новой исторіи русскаго права кардинальнымъ вопросомъ является вопросъ о *крѣпостномъ правѣ*. Всѣ лучшіе русскіе писатели XVIII и XIX вв. касаются этого вопроса. Въ русской художественной литературѣ находимъ всестороннюю и вѣрную оцѣнку крѣпостного права, а вмѣстѣ съ этимъ находимъ согласное указаніе на идеаль будущаго, указаніе, сформулированное въ извѣстныхъ стихахъ Пушкина:

Увижу-ль я, друзья, народъ освобожденный
И рабство, падшее по манію Царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря!

Идеаль этотъ достигнуть. Крѣпостное право пало. И въ этомъ паденіи крѣпостного права не послѣднюю роль играли тѣ эманципаторскія идеи, которыми проникнута была русская художественная литература.

То русское общество, которое изображено въ сочиненіяхъ Чехова, русское общество 80—90-хъ годовъ XIX вѣка и начала XX вѣка, уже не знаетъ крѣпостного права, какъ юридическаго института. Но среди этого общества еще доживали свои дни свѣдѣтели крѣпостного права, „послѣдніе могикане“ уходящей въ исторію дореформенной Россіи. Чеховъ изображаетъ этихъ „послѣднихъ могиканъ“, а вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ оцѣнку крѣпостного права и выясняетъ его вліяніе на послѣдующую русскую жизнь.

Представитель эпохи крѣпостного права дѣдушка въ разсказѣ „Въ родномъ углу“.

„Неукротимый былъ человѣкъ..., характеризуетъ дѣдушку тетя Даша. Прежде, бывало, чуть прислуга не угодитъ или что, какъ вскочить и „Двадцать пять горячихъ! Розогъ!“ А теперь присмирѣлъ и не слышать его. И то сказать, не тѣ времена теперь, душечка, замѣчаетъ тетя Даша; бить нельзя“.

Впрочемъ, слова тети Даши — „присмирѣлъ и не слышать его“ не совсѣмъ соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Случалось, что за обѣдомъ вдругъ лицо у дѣдушки багровѣло, шея надувалась, онъ со злобой глядѣлъ на прислугу и спрашивалъ, стуча палкой:— почему хрѣну не подали? Лѣтомъ онъ иногда ѣздилъ въ поле и, вернувшись, говорилъ, что безъ него вездѣ безпорядки, и замахивался

вался палкой. Дѣдушка, представитель крѣпостного режима, знаетъ уже, что бить нельзя, но еще не знаетъ, что нельзя стучать палкой и замахиваться палкой.

Представителями крѣпостного режима, съ другой стороны, являются старикъ Осипъ и его бабка въ разсказѣ „Мужики“. Они свыклись съ этимъ режимомъ, свыклись съ своей ролью объектовъ права, не могутъ справиться съ новой ролью субъектовъ права, и прошлое представляется для нихъ золотымъ вѣкомъ, потеряннымъ раемъ.

„При господахъ лучше было,—говоритъ старикъ Осипъ. И работаешь и ѣшь, и спишь, все своимъ чередомъ. Въ обѣдъ щи тебѣ и каша. Огурцовъ и капусты было вволю: ѣшь добровольно, сколько душа хочетъ. И строгости было больше. Всякій себя помнилъ... Старикъ разсказывалъ, не спѣша, какъ жили до голи, какъ въ этихъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ теперь живетъ такъ скучно и бѣдно, охотились съ гончими, съ борзыми, съ псковичами, и во время облавъ мужиковъ поили водкой; какъ въ Москву ходили цѣлые обозы съ битой птицей для молодыхъ господъ, какъ злыхъ наказывали розгами или ссылали въ Тверскую вотчину, а добрыхъ награждали. И бабка тоже разсказала кое-что. Она все помнила, рѣшительно все. Она разсказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой мужъ былъ кутила и развратникъ, и у которой всѣ дочери повыходили замужъ Богъ знаетъ какъ: одна вышла за пьяницу, другая—за мѣщанина, третью увезли тайно (сама бабка, которая была тогда дѣвушкой, помогала увозить), и всѣ онѣ скоро умерли съ горя, какъ и ихъ мать. И вспомнивъ объ этомъ, бабка даже всхлипнула“.

Неволя представляется раемъ и для Фирса въ пьесѣ „Вишневый садъ“. „Живу давно, говоритъ онъ Раневской. Меня женить собирались, а вашего папаша еще на свѣтѣ не было... А воля вышла, я уже старшимъ камердинеромъ былъ. Тогда я не согласился на волю, остался при господахъ. И помню всѣ рады, а чему рады и сами не знаютъ“. По мнѣнію Фирса, раньше лучше было: „мужики при господахъ, господа при мужикахъ, а теперь всѣ враздробь, не поймешь ничего“. Въ другомъ мѣстѣ Фирсъ называетъ волю несчастіемъ. „Передъ несчастіемъ, говоритъ онъ, то же было: и сова кричала, и самоваръ гудѣлъ безперечь“. На

вопросъ Гаева— „передъ какимъ несчастіемъ“? онъ отвѣчаетъ: — „передъ волей“.

Представитель крѣпостного режима старый пастухъ въ разсказѣ „Свирѣль“ тоже скорбитъ о крѣпостной неволѣ, какъ о потерянномъ раѣ. „Лѣтъ сорокъ я примѣчаю, говоритъ онъ приказчику, Божьи дѣла... и такъ понимаю, что все къ одному клонится... къ худу. Надо думать къ гибели. Пришла пора Божьему міру погибать. Я, добрый человѣкъ, съ самой воли хожу съ общественнымъ стадомъ, до воли тоже былъ у господъ въ пастухахъ, пасъ на этомъ самомъ мѣстѣ и, покуда живу, не помню того лѣтняго дня, чтобы меня тутъ не было. И все время я Божьи дѣла примѣчаю. Приглядѣлся я, братъ, за свой вѣкъ и такъ теперь понимаю, что всякія растенія на убыль пошли. Рожь ли взять, овощъ ли, цвѣтокъ ли какой, все къ одному клонится.

— За то народъ лучше сталъ.—замѣтилъ приказчикъ.

— Чѣмъ это лучше?

— Умнѣй.

— Умнѣй-то умнѣй, это вѣрно, да что съ того толку? На кой прахъ людямъ умъ передъ погибелью-то? Пропадать и безъ всякаго ума можно. Къ чему охотнику умъ, коли дичи нѣтъ? Я такъ разсуждаю, что Богъ человѣку умъ далъ, а силу взялъ. Слабъ народъ сталъ, до чрезвычайности слабъ. Къ примѣру меня взять... Грошъ мнѣ цѣна, во всей деревнѣ я самый пустѣйшій мужикъ а все таки сила есть. Ты вотъ гляди, мнѣ седьмой десятокъ, а я день деньской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенный и спать не сплю, и не зябну; сынъ мой умнѣй меня, а поставь его замѣсто меня. такъ онъ завтра же прибавки запроситъ, или лѣчиться пойдетъ. Такъ-тось. Я, акромѣ хлѣбушка, ничего не потребляю, потому хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесъ, и отецъ мой, акромѣ хлѣба, ничего не ѣлъ, и дѣдъ, а нынѣшнему мужику и чаю давай, и булки, и чтобы спать ему отъ зари до зари, и лѣчиться и всякое баловство. А почему? Слабъ сталъ, силы въ немъ нѣтъ вытерпѣть“.

Наконецъ, есть еще одинъ защитникъ крѣпостного режима— регентъ соборной церкви Градусовъ въ разсказѣ „Изъ огня да въ полымя“. Градусовъ остался недоволенъ приговоромъ мирового судьи, коимъ онъ подвергнутъ наказанію за оскорбленіе

своего бывшего пѣвчаго Осипа Деревяшкина. Градусовъ говоритъ: „Меня оскорбили да я же еще и сидѣть долженъ... Удивленіе... Надо, господинъ мировой судья, по закону судить, а неумствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Сергѣевна, дай Богъ ей царство небесное, такихъ, какъ Осипъ, сѣчь приказывала, а вы имъ поблажку даете... Что-жъ изъ этого выйдетъ?“

Для характеристики того рая, который былъ на русской землѣ во времена крѣпостного права, приведу еще два факта изъ рассказовъ Чехова.

Бродяга (въ рассказѣ „Мечты“) рассказываетъ о томъ, что его мать, крѣпостная женщина, была наложницей и отравила своего барина, когда впала въ немилость и уступила мѣсто другой наложницѣ.

Въ „Сосѣдяхъ“ помѣщикъ Власичъ рассказываетъ о томъ, какъ во времена крѣпостного права арендаторъ французъ заporоль до смерти одного бурсака: „сдѣлалъ ему допросъ, потомъ приказалъ бить... самъ сидитъ за столомъ, бордо пьетъ, а конюха бьютъ... къ утру бурсакъ умеръ отъ истязаній, и трупъ его спрятали куда-то“.

Самоуправство со стороны помѣщиковъ, наказаніе крестьянъ розгами, ссылка ихъ въ дальнюю вотчину, принудительные браки между крестьянами, обращеніе крѣпостныхъ женщинъ въ наложницъ, взглядъ на крестьянина, исключительно какъ на рабочую силу и крайняя эксплуатація этой рабочей силы—вотъ конкретныя черты крѣпостного права. Но людямъ, воспитаннымъ въ традиціяхъ крѣпостного права, оно казалось не только нормальнымъ порядкомъ, но и порядкомъ наилучшимъ. По мнѣнію старика пастуха въ рассказѣ „Свирѣль“, способность крѣпостного крестьянина безропотно подвергаться эксплуатаціи помѣщика есть признакъ силы; напротивъ. порядокъ, наступившій послѣ объявленія воли, когда сыновья крѣпостныхъ заговорили о платѣ за работу, объ отдыхѣ послѣ работы, о достаточномъ питаніи, о лѣченіи, т.-е. заявили о человѣческихъ правахъ, указываетъ на слабость.

Представители крѣпостного режима доживаютъ послѣдніе дни. Старикъ Осипъ и его бабка, старикъ-пастухъ и Фирсъ—люди весьма дряхлые. Дѣдушка въ рассказѣ „Въ родномъ углу“

тоже разслабленный, дряхлый старикъ. И Елена Никифорова Чепракова въ разсказѣ „Моя жизнь“ тоже дряхлая старуха: „она говорила, Ёла, но во всей ея фигурѣ было уже что то мертвенное и даже какъ будто чувствовался запахъ труна“.

Послѣдніе представители крѣпостного режима доживаютъ послѣдніе дни, но они передали своимъ потомкамъ тѣ понятія, нравы и привычки, которые культивировались на почвѣ крѣпостного права. Въ томъ русскомъ обществѣ, которое изображено въ сочиненіяхъ Чехова, нѣтъ крѣпостного права, какъ юридическаго института, но крѣпостное право продолжаетъ жить въ понятіяхъ, взглядахъ, нравахъ и привычкахъ: крѣпостное право наложило неизгладимую печать на психическую организацію и потомковъ бывшихъ господъ и потомковъ бывшихъ рабовъ.

Въ разсказѣ Чехова „Три года“ встрѣчаемъ слѣдующее признаніе университетскаго человѣка Лаптева, предки котораго были крѣпостными: „Я робокъ, не увѣренъ въ себѣ, у меня трусливая совѣсть, я никакъ не могу приспособиться къ жизни, стать ея господиномъ. Иной говорить глупости или плутуетъ, и такъ жизнерадостно, я же, случается, сознательно дѣлаю добро и испытываю при этомъ безпокойство или полнѣйшее равнодушіе. Все это объясняю я тѣмъ, что я рабъ, внукъ крѣпостного. Прежде чѣмъ, мы, чумазые, выйдемъ на настоящую дорогу, много нашего брата ляжетъ костью“.

Въ другомъ мѣстѣ того же разсказа Лаптевъ говоритъ брату своему Θεодору, который написалъ статью о „русской душѣ“ и величаетъ себя представителемъ именитаго купческаго рода: „Какой тамъ именитый родъ?.. Дѣда нашего помѣщики драли и каждый послѣдній чиновничиска билъ его въ морду. Отца дралъ дѣдъ, меня и тебя дралъ отецъ. Что намъ съ тобой даль этотъ твой именитый родъ? Какіе первы и какую кровь мы получили въ наслѣдство? Ты вотъ уже почти три года разсуждаешь, какъ дьячокъ, говоришь всякій вздоръ и вотъ написалъ — вѣдь это холопскій бредъ! А я, а я? Посмотри на меня... Ни гибкости, ни смѣлости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шагъ, точно меня выпорютъ, я робѣю передъ ничтожествомъ, идіотами, скотами, стоящими неизмѣримо ниже меня умственно и нравственно, я боюсь дворниковъ, швейцаровъ, городскихъ, жан-

дармовъ, я всѣхъ боюсь, потому что я родился отъ затравленной матери, съ дѣтства я забить и замучень“.

Лаптевъ — интеллигентный человѣкъ съ университетскимъ образованіемъ. Онъ сознательно относится къ явленіямъ дѣйствительной жизни и вѣрно отгадываетъ въ отдаленномъ прошломъ причины настоящаго. То, что говоритъ Лаптевъ о себѣ, примѣнимо и къ другимъ русскимъ людямъ, потомкамъ бывшихъ господъ и потомкамъ бывшихъ рабовъ. И тѣмъ и другимъ предки передали богатое наслѣдство, въ видѣ понятій, взглядовъ, нравовъ и привычекъ, воспитанныхъ при крѣпостномъ режимѣ.

Не было ли въ русской жизни послѣ отмѣны крѣпостного права такихъ условій, которыя поддерживали эти понятія, взгляды, нравы и привычки? Такія условія были. Крѣпостное право тѣсно было связано со всѣмъ строемъ общественной жизни дореформенной Россіи. Отмѣна крѣпостного права должна была повлечь за собою и дѣйствительно повлекла цѣлый рядъ другихъ реформъ, цѣль которыхъ заключалась въ раскрѣпощеніи Россіи. Таковы реформы: земская, городская, судебная, военная, университетская... Но скоро реформы были пріостановлены. Мало того, скоро наступилъ поворотъ назадъ, къ дореформенной старинѣ. Историческая жизнь человѣчества подчиняется закону неповторяемости явленій: то, что было, не можетъ быть возстановлено въ своемъ первоначальномъ видѣ. Нельзя было снова закрѣпостить крестьянъ помѣщикамъ, нельзя было совершенно отказаться отъ идеи мѣстнаго самоуправленія, нельзя было совершенно отказаться отъ скораго, праваго, милостиваго и равнаго суда... Но освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной неволи не доведено до конца, осталось закрѣпощеніе крестьянъ общинѣ, закрѣпощеніе податное, паспортное...; производятся частичныя, но довольно существенныя измѣненія въ Земскомъ Положеніи и Городовомъ Положеніи; равнымъ образомъ, производятся частичныя измѣненія Судебныхъ Уставовъ; вводится институтъ земскихъ начальниковъ; сохраняется цензурный гнетъ; сохраняются тѣлесныя наказанія и т. д. Эти послѣднія условія общественной жизни способствуютъ поддержанію тѣхъ понятій, взглядовъ, привычекъ и нравовъ, которые образовались во времена крѣпостного права. Такимъ образомъ, на сценѣ русской общественной жизни мы видимъ два

теченія: молодая раскрѣпошенная Россія уже начала свое бытіе и сдѣлала первые нетвердые шаги; но еще доживаетъ послѣдніе дни старая крѣпостная Россія, она употребляетъ отчаянныя усилія, чтобы продлить свое существованіе, отсрочить свою кончину и, какъ подобаетъ старости, ревниво оберегаетъ пріобрѣтенныя права.

Русское общество, изображенное въ сочиненіяхъ Чехова, живетъ именно въ эпоху борьбы этихъ теченій. Лучшие представители этого общества съ горячей вѣрой въ свѣтлое будущее вступаютъ въ жизнь, но терпятъ неудачи и очень скоро превращаются въ нытиковъ, людей скучающихъ, тоскующихъ, надорванныхъ и надломленныхъ, усталыхъ тѣломъ и душой, безъ вѣры, безъ любви, безъ цѣли. Я не буду останавливаться на общей характеристикѣ русскихъ людей по сочиненіямъ Чехова. Въ настоящую минуту меня интересуетъ юридическая жизнь русскихъ людей по сочиненіямъ Чехова. И на жизни юридической должна была отразиться борьба указанныхъ мною двухъ противоположныхъ теченій.

Ubi societas, ibi jus est. Въ каждомъ обществѣ существуетъ право. Предписанія права должны быть исполняемы. *Законность* — одинъ изъ основныхъ принциповъ общественной жизни.

Какую роль играетъ этотъ принципъ законности въ русской общественной жизни? Существуетъ ли уваженіе къ юридическому закону въ томъ русскомъ обществѣ, которое изображено въ сочиненіяхъ Чехова?— вотъ первый вопросъ права, который я постараюсь выяснить.

Земскій докторъ (въ разсказѣ „Непріятность“) ударилъ въ больницѣ пьяницу фельдшера. Этотъ дикій поступокъ мучитъ доктора. Послѣ долгихъ размышленій о выходѣ изъ этого мучительнаго положенія докторъ останавливается на такой мысли: „Я воспользовался правомъ сильнаго. Пусть онъ подастъ на меня въ судъ. Я безусловно виноватъ, оправдываться не стану, и мировой присудитъ меня къ аресту.“ Очевидно, докторъ — защитникъ принципа законности. Но онъ встрѣчаетъ неодолимые препятствія для того, чтобы осуществить этотъ принципъ на практикѣ даже въ томъ дѣлѣ, которое касается лично его. Когда

наступилъ день разбора дѣла у мирового судьи, пріѣхалъ председатель земской управы и приказалъ фельдшеру до суда просить прощенія у доктора. Докторъ, не желавшій такого исхода, выбѣжалъ въ другую комнату. Тогда председатель взялъ съ фельдшера слово, что онъ будетъ вести трезвую жизнь и сказалъ: „вотъ и все и суда никакого не нужно.“ Когда докторъ, послѣ этого, „возвращался къ себѣ въ больницу, мысли его заволакивались туманомъ, какъ трава въ осеннее утро.— „Неужели,—думалъ онъ,— въ послѣднюю недѣлю было такъ много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все окончилось такъ нелѣпо и пошло! Какъ глупо! Какъ глупо!“

Нелѣпо, пошло и глупо окончилась попытка осуществить идею законности въ томъ обществѣ, которое не привыкло относиться съ уваженіемъ къ этой идеѣ.

Докторъ—представитель принциповъ раскрѣпощенной Россіи, онъ защищаетъ идею законности. Защитниками идеи законности являются также чины судебного вѣдомства. Только чины судебного вѣдомства не брали взятокъ, по словамъ Полознева въ рассказѣ „Моя жизнь“.

Въ рассказѣ „Изъ огня да въ полымя“ одинъ намекъ на то, что чины судебного вѣдомства берутъ взятки, является оскорбленіемъ суда.

Чины судебного вѣдомства—это представители новаго суда, созданнаго въ эпоху великихъ реформъ Судебными Уставами Императора Александра II, суда скорого, праваго, милостиваго и равнаго. Понятно, что для нихъ дорога идея законности.

Подъ вліяніемъ отчужденія крѣпостного права и введенія новаго суда идея законности мало по мало проникаетъ и въ сознаніе массы населенія.

Въ рассказѣ „Хамелеонъ“ золотыхъ дѣлъ мастеръ Хрюминъ говоритъ: „а ежели я вру, такъ пушай мировой разсудить. У него въ законѣ сказано... Нынче всѣ равны“.

Въ рассказѣ „Новая дача“, крестьяне поймали на потравѣ господскій скотъ. „Не имѣете никакого права обижать народъ, говорятъ они. Крѣпостныхъ теперь нѣтъ“.

Въ рассказѣ „Егеръ“, бывшій крѣпостной возмущается самодурствомъ барина, который женилъ его пьянаго. „Ты видала, го-

ворить онъ женѣ, что я пьяный, зачѣмъ выходила? Не крѣпостная вѣдь, могла супротивъ пойти?“.

Отдѣльныя проявленія чувства законности—исключенія въ сочиненіяхъ Чехова. По общему правилу, въ русскомъ обществѣ, изображенномъ Чеховымъ, нѣтъ уваженія къ закону.

Нѣтъ уваженія къ закону у представителей государственной власти. Мѣсто законности тутъ заступаетъ взяточничество. Взяточничество распространено чрезвычайно широко, оно считается вполне нормальнымъ явленіемъ, взятки берутся явно, открыто.

„Во всемъ городѣ, говоритъ Полосневъ (въ разсказѣ „Моя жизнь“), я не зналъ ни одного честнаго человѣка. Мой отецъ бралъ взятки и воображалъ, что даютъ ему изъ уваженія къ его душевнымъ качествамъ: гимназисты, чтобы переходить изъ класса въ классъ, поступаютъ на хлѣба къ своимъ учителямъ, и эти брали съ нихъ большія деньги. Жена воинскаго начальника во время набора брала съ рекрутовъ и даже позволяла угощать себя и разъ въ церкви никакъ не могла подняться съ колѣнъ, такъ какъ была пьяна: во время набора брали и врачи, а городской врачъ и ветеринаръ обложили налогомъ мясныя лавки и трактиры; въ уѣздномъ училищѣ торговали свидѣтельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благотворныя брали съ подчиненныхъ причтовъ и церковныхъ старостъ; въ городской, мѣщанской, во врачебной и во всѣхъ прочихъ управахъ каждому просителю кричали вслѣдъ:—„Благодарить надо!“ и проситель возвращался, чтобы дать 30—40 копѣекъ“.

Въ томъ же разсказѣ приведенъ одинъ частный случай взяточничества. „Вокзалъ строился въ пяти верстахъ отъ города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила къ самому городу, просили взятку въ пятьдесятъ тысячъ, а городское управленіе соглашалось дать только сорокъ, разошлись въ десяти тысячахъ, и теперь горожане раскаивались, такъ какъ предстояло проложить до вокзала шоссе, которое по счѣтѣ обходилось дороже“.

Взяточничество со стороны желѣзнодорожныхъ агентовъ описывается также въ разсказахъ—„Холодная кровь“ и „Хорошій конецъ“.

Грузоотправитель Малахинъ (разсказъ „Холодная кровь“) везетъ по желѣзной дорогѣ нѣсколько вагоновъ быковъ въ сто-

лицу. Товарный поѣздъ второй часъ уже стоитъ у полустанка. Малахинъ подходитъ къ оберъ-кондуктору и машинисту, убѣждаетъ ихъ поторопиться, жалуясь на постоянныя остановки. „За всю дорогу, говоритъ онъ, простояли мы лишнихъ тридцать четыре часа... Это не ѣзда, а чистое раззореніе“. Грузоотправитель, по закону, имѣетъ право требовать, чтобы лишнихъ остановокъ не было, чтобы ѣзда не была чистымъ разореніемъ. Но и грузоотправителю Малахину, и машинисту, и оберъ-кондуктору чуждо уваженіе къ закону. Оберъ-кондукторъ и машинистъ молчатъ, выслушавъ жалобы грузоотправителя. „По лицамъ обоихъ видно, что у нихъ есть какая-то одна общая тайная мысль, которую они не высказываютъ не потому, что хотятъ скрыть ее, а потому, что подобныя мысли передаются молчаніемъ гораздо лучше, чѣмъ на словахъ. И старикъ (грузоотправитель) понимаетъ. Онъ лѣзетъ въ карманъ, достаетъ оттуда десятирублевку и безъ предисловій, не мѣняя ни тона голоса, ни выраженія лица, а съ увѣренностью и прямою, съ какими даютъ и берутъ взятки, вѣроятно, одни только русскіе люди, подаетъ бумажку оберъ-кондуктору. Тотъ молча беретъ, складываетъ ее вчетверо и, не снѣша, кладетъ въ карманъ...“ Поѣздъ уходитъ. Но на одной изъ слѣдующихъ станцій снова остановка и снова повторяется та же сцена. Малахинъ подходитъ къ начальнику станціи и оберъ-кондуктору, выслушиваетъ длинное объясненіе о томъ, что такіе то номера ушли, а такіе то пойдутъ, а затѣмъ „вынимаетъ десятирублевку, подумавъ, прибавляетъ къ ней еще двѣ рублевныя бумажки и подаетъ ихъ начальнику станціи. Тотъ беретъ, дѣлаетъ подъ козырекъ и граціозно суетъ себѣ въ карманъ“. Послѣ этого поѣздъ уходитъ.

Въ разсказѣ „Хорошій конецъ“, оберъ-кондукторъ Стычкинъ провозитъ безбилетныхъ пассажировъ и считаетъ получаемый имъ отъ этой операціи доходъ совершенно нормальнымъ явленіемъ. Стычкинъ — „человѣкъ положительный, строгій, солидный, жизнь ведетъ основательную, обо всемъ благородно понимаетъ...“ И должность у него основательная. На вопросъ — какое онъ жалованье получаетъ? — Стычкинъ отвѣчаетъ:

— „Я—съ? Семьдесятъ пять рублей, помимо наградныхъ... Кромѣ того, мы имѣемъ доходъ отъ стеариновыхъ свѣчей и зайцевъ.

— Охотой занимаетесь?

— Нѣтъ-съ, зайцами у насъ называются безбилетные пассажиры“.

Въ разказахъ „Въ оврагѣ“ и „Въ сараѣ“, взятки берутъ врачи и чины полиціи.

На краю села Уклеева (разсказъ „Въ оврагѣ“) находились фабрики—три ситцевыхъ и одна кожевенная. „Отъ кажевенной фабрики вода въ рѣчкѣ часто становилась вонючей; отбросы заражали лугъ. крестьянскій скотъ страдалъ отъ сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалось закрытой, но работала тайно съ вѣдома становаго пристава и уѣзднаго врача, которымъ владѣлецъ платилъ по десяти рублей въ мѣсяцъ“.

„У нашей барыни—генеральши. говоритъ старикъ (разсказъ „Въ сараѣ“) ... меньшей сынъ изъ пистолета себѣ въ ротъ выпалилъ. По закону выходить, надо хоронить такихъ безъ поповъ, безъ панихиды, за кладбищемъ, а барыня, значить, чтобъ сраму отъ людей не было, подмазала полицейскихъ и докторовъ, и такую бумагу ей дали, будто сынъ въ горячкѣ, это самое, въ бозпамятствѣ. За деньги все можно. Похоронили его, значить, съ попами, честь честью, музыка играла, и положили подъ церковью“.

Характерная сцена взяточничества нарисована въ разсказѣ „Справки“.

Помѣщикъ Волдыревъ явился въ одно присутственное мѣсто навести справку. Чиновникъ, къ которому онъ обратился, совершенно его не замѣчалъ. Волдыревъ вынулъ изъ кормана рублевую бумажку и положилъ ее передъ чиновникомъ... потомъ другую. Но чиновникъ по прежнему не обращалъ вниманія на присутеля. Волдыревъ „отошелъ отъ стола и остановился среди комнаты. безнадежно опустивъ руки. Швейцаръ, проходившій со стаканомъ, замѣтилъ, вѣроятно, безпомощное выраженіе на его лицѣ, потому что подошелъ къ нему совѣтъ близко и спросилъ тихо:

— Ну, что? справлялись?

— Справлялся, но со мной говорить не хотятъ.

— А вы дайте ему три рубля,—шепнулъ швейцаръ.

— Я уже далъ два.

— А вы еще дайте.

Волдыревъ вернулся къ столу и положилъ на раскрытую книгу зеленую бумажку.

Справка немедленно была наведена.

Въ разсказѣ „Ораторъ“ одинъ чиновникъ говоритъ другому: „Ваша рѣчь, можетъ быть, годится для покойника, но въ отношеніи живого человѣка она—одна насмѣшка-съ! Помилуйте, что вы говорили? Безкорыстенъ, неподкупенъ, взятокъ не беретъ! Вѣдь про живого человѣка это можно говорить только въ насмѣшку-съ“!

Взяточничество свидѣлствуетъ о неуваженіи къ закону и со стороны того, кто беретъ, и со стороны того, кто даетъ. Берутъ взятки—представители различныхъ государственныхъ учреждений. Даютъ взятки—представители различныхъ классовъ общества. И тѣ и другіе убѣждены въ томъ, что „благодарить надо“ („Моя жизнь“) и что „за деньги все можно“ („Въ сараѣ“). Гдѣ господствуютъ такіа убѣжденія, тамъ не можетъ быть и рѣчи объ уваженіи къ закону.

Кромѣ взяточничества, объ отсутствіи уваженія къ закону свидѣлствуютъ и другія явленія: самоуправство, произволъ, насилія, обманы. Такія явленія замѣчаются прежде всего въ средѣ высшихъ руководящихъ классовъ русскаго общества. А это указываетъ на то, что даже у высшаго руководящаго класса общества нѣтъ уваженія къ закону.

Профессоръ Серебряковъ въ „Дядѣ Ванѣ“ предполагаетъ распорядиться имѣньемъ своей покойной жены, которое, по закону, принадлежитъ его дочери—Сонѣ.

Неуваженіе къ закону проявляетъ и Андрей Прозоровъ въ „Трехъ Сестрахъ“, тоже интеллигентный человѣкъ, мечтавшій о профессорской карьерѣ. Онъ самовольно заложилъ въ банкъ домъ, принадлежащій, по закону, ему и его тремъ сестрамъ.

Въ разсказѣ „Моя жизнь“ благообразный господинъ въ золотыхъ очкахъ оказываетъ явное неуваженіе къ закону. Полозневъ разсказываетъ: „Осенью въ нашемъ клубѣ я оклеивалъ обоями читальню и двѣ комнаты; мнѣ заплатили по семи копѣекъ за кусокъ, но приказали расписаться—по двѣнадцати, и когда я отказался исполнить это, то благообразный господинъ въ золотыхъ очкахъ, должно быть одинъ изъ старшинъ клуба, сказалъ мнѣ:

— Если ты, мерзавецъ, будешь еще много разговаривать, то я тебѣ всю морду пообью.

И когда лакей шепнулъ ему, что я сынъ архитектора Полознева, то онъ сконфузился, покраснѣлъ, но тотчасъ же оправился и сказалъ:

— А чортъ съ нимъ“.

Въ разсказѣ „Маска“ описанъ актъ самоуправства со стороны „милліонера фабриканта, потомственного почетнаго гражданина Пятигорова, извѣстнаго своими скандалами, благотворительностью и, какъ не разъ говорилось въ мѣстномъ вѣстникѣ,—любовью къ просвѣщенію“. Во время маскарада Пятигоровъ въ маскѣ явился въ читальню клуба. За нимъ вошли двѣ дамы въ маскахъ и лакей съ подносомъ. Пятигоровъ смахнулъ рукой со стола нѣсколько журналовъ и сказалъ лакею:

— „Становь сюда. А вы, господа читатели, обратился онъ къ находившимся въ читальнѣ интеллигентамъ, подвиньтесь, некогда тутъ съ газетами, да съ политикой... Бросайте“.

Интеллигенты начали протестовать.

— „Здѣсь читальня, а не буфетъ... Здѣсь не мѣсто пить...“

— Почему не мѣсто? сказалъ Пятигоровъ. Нешто столъ качается или потолокъ обвалиться можетъ? Чудно! Но... некогда разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость и будетъ съ васъ; и такъ ужъ умны очень, да и глаза попортишь, а главнѣе всего—я не желаю и все тутъ“.

Собственное желаніе—высшій законъ для Пятигорова; другихъ законовъ онъ не признаетъ.

Помѣшанная на своемъ аристократизмѣ барыня Федосья Васильевна Кушкина (въ разсказѣ „Переполюхъ“) тоже не признаетъ другихъ законовъ, кромѣ своей воли. У барыни этой пропала брошка. Она сдѣлала обыскъ у прислуги. Всѣхъ обыскивали, всѣхъ раздѣвали до гола и обыскивали. На замѣчаніе мужа—„по закону ты не имѣешь никакого права дѣлать обыски“—барыня отвѣтила: „Я не знаю вашихъ законовъ. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вотъ и все. И я найду эту брошку“.

Если нѣтъ уваженія къ закону наверху, въ средѣ руководящихъ классовъ общества, то его не можетъ быть внизу, въ средѣ низшихъ классовъ общества.

Нѣтъ и не можетъ быть уваженія къ закону у мужиковъ. Мужикъ не знаетъ и не понимаетъ предписаній закона.

Въ разсказѣ „Злоумышленникъ“ изображенъ мужикъ, нарушившій законъ. Денисъ Григорьевъ, „маленькій, чрезвычайно тощій мужичонко въ пестрядинной рубахѣ и заплатанныхъ портахъ“, былъ пойманъ желѣзнодорожнымъ сторожемъ за отвинчиваніемъ гайки, коей рельсы прикрѣпляются къ шпаламъ. Онъ обвиняется по 1081 ст. уложенія о наказаніяхъ, которая угрожаетъ ссылкой въ каторжныя работы за всякое съ умысломъ учиненное поврежденіе желѣзной дороги. „Ты не могъ не знать, къ чему ведетъ это отвинчиваніе“, говоритъ слѣдователь. — „Конечно, вы лучше знаете, отвѣчаетъ Денисъ Григорьевъ. Мы люди темные... нешто мы понимаемъ“. И, дѣйствительно, этотъ разсказъ Чехова краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о томъ, что мужики—люди темные, что судебный слѣдователь и мужикъ говорятъ на разныхъ языкахъ: то, что ясно и понятно слѣдователю, совершенно непонятно мужику. Мужики—люди темные и вслѣдствіе этой темноты не знаютъ закона, не понимаютъ требованій закона, а потому не уважаютъ его.

Темнота—естественное слѣдствіе рабства, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій тяготѣвшаго надъ мужиками. Рабство не могло воспитать чувства законности; наоборотъ, оно воспитало въ мужикѣ твердую увѣренность въ томъ, что баринъ—начальникъ, что барину—все позволено, и что воля барина—законъ.

Въ разсказѣ „Темнота“ деревенскій парень приходитъ къ доктору и проситъ отпустить изъ больницы его брата. Изъ разговора доктора съ парнемъ оказывается, что братъ парня былъ судимъ окружнымъ судомъ съ присяжными засѣдателями, по обвиненію въ кражѣ со взломомъ, присужденъ къ арестантскимъ ротамъ на три года и, по случаю болѣзни, помѣщенъ въ больницу. Докторъ старается убѣдить парня, что, по закону, онъ не имѣетъ права отпустить арестанта, что, „разъ присяжные обвинили, то ужъ тутъ не могутъ ничего подѣлать ни губернаторъ, ни даже министр“. Парень не вѣритъ доктору. Онъ убѣжденъ въ томъ, что всемогущее начальство все можетъ сдѣлать и что нужно дать взятку для того, чтобы склонить начальство на свою сторону. Онъ говоритъ доктору: „Въ больницѣ тутъ старшѣ тебя нѣтъ.

Что хочешь, ваше благородіе, то и дѣлаешь“. Когда докторъ, потравъ терпѣніе, махнулъ рукой и ушелъ, парень началъ размышлять: „къ кому же идти? Чье жъ дѣло? Нѣтъ, вѣрно пока не подмажешь, ничего не подѣлаешь“. Парень направился въ городъ; по дорогѣ онъ разговорился съ однимъ старикомъ, отъ котораго узналъ, что „по крестьянскимъ дѣламъ самый главный и къ этому приставленъ непремѣнный членъ“. Былъ парень у непремѣннаго члена, но тотъ и разговаривать не сталъ, говоритъ—„пошелъ вонъ“. Дней черезъ пять парень, вмѣстѣ съ старикомъ—отцомъ, снова явился къ доктору. „Ваше благородіе, говоритъ отецъ, —будьте милостивы! Мы люди бѣдные, благодарить не можемъ вашу честь, но ежели угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отработать могутъ. Пущай работаютъ“. „Отработаемъ“, — сказали парень, быстро взглянулъ на отца, дернулъ его за рукавъ и оба они, какъ по командѣ, повалились доктору въ ноги“.

Разсказъ носить названіе „Темнота“. Это темнота юридическая, заключающаяся въ полномъ отсутствіи чувства законности. Чувство законности замѣняется вѣрой въ всемогущество барина—начальника, котораго нужно благодарить, подмазать.

О той же вѣрѣ во всемогущество барина свидѣтельствуется слѣдующая сцена изъ деревенской жизни, нарисованная Чеховымъ въ разсказѣ „Новая дача“:

„На Воздвиженъ, 14 сентября, былъ храмовой праздникъ. Лычковы, отецъ и сынъ, еще съ утра уѣхали на ту сторону и вернулись къ обѣду пьяные; они ходили долго по деревнѣ, то пѣли, то бранились нехорошими словами, потомъ подрались и пошли въ усадьбу жаловаться. Сначала вошелъ во дворъ Лычковъ отецъ, съ длинной осиновой палкой въ рукахъ; онъ нерѣшительно остановился и снялъ шапку. Какъ разъ въ это время на террасѣ сидѣлъ инженеръ съ семьей и пилъ чай.

— Что тебѣ?—крикнулъ инженеръ.

— Ваше высокородіе, баринъ...—началъ Лычковъ и заплакалъ... Явите Божескую милость, вступитесь... Житія нѣтъ отъ сына... Разорилъ сынъ, дерется... ваше высокоблагородіе...

Вошелъ и Лычковъ сынъ, безъ шапки, тоже съ палкой; онъ остановился и вперилъ пьяный, бессмысленный взглядъ на террасу.

— Не мое дѣло разбирать васъ,—сказалъ инженеръ. Ступай къ земскому или къ становому.

— Я вездѣ былъ... прошеніе подавалъ... —проговорилъ Лычковъ отецъ и зарыдалъ.—Куда мнѣ теперь идти? Значить онъ меня теперь убить можетъ? Онъ, значить, всё можетъ? Это отца-то? Отца?—Онъ поднялъ палку и ударилъ ею сына по головѣ“...

По мнѣнію мужиковъ, баринъ долженъ ихъ разсудить, ибо баринъ все можетъ.

Если баринъ все можетъ, если нѣтъ законовъ для барина, то зачѣмъ законы мужику? И мужикъ, подобно барину, не признаетъ законовъ. Нарушаютъ законы простые мужики, нарушаютъ законы мужики, облеченные общественнымъ довѣріемъ, нарушаютъ законы въ одиночку, нарушаютъ законы и цѣлыми обществами. Не можетъ быть и рѣчи объ уваженіи къ закону тамъ, гдѣ на каждомъ шагу господствуетъ нарушеніе закона, гдѣ на каждомъ шагу встрѣчаешься съ актами произвола, самоуправства, насилія.

„Въ нашемъ лѣсу и даже въ саду,—говоритъ Полозневъ (въ разсказѣ „Моя жизнь“), мужики пасли свой скотъ, угоняли къ себѣ въ деревню нашихъ коровъ и лошадей и потомъ приходили требовать за потраву. Приходили цѣлыми обществами къ намъ во дворъ и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой нибудь не принадлежащей намъ Бышеевки или Семенихи; а такъ какъ мы еще не знали точно границъ нашей земли, то вѣрили на слово и платили штрафъ; потомъ же оказывалось, что косили мы правильно. Въ нашемъ лѣсу драли липки. Одинъ дубеченскій мужикъ, кулакъ, торговавшій водкой безъ патента, подкупалъ нашихъ работниковъ и вмѣстѣ съ ними обманывалъ насъ самымъ предательскимъ образомъ: новыя колеса на телѣгахъ замѣняли старыми, бралъ наши пахотные хомуты и продавалъ ихъ намъ же и т. п. Но обиднѣе всего было то, что происходило въ Куриловкѣ на постройкѣ; тамъ бабы по ночамъ крали тесъ, кирпичъ, изразцы, желѣзо; староста съ понятыми дѣлалъ у нихъ обыскъ, сходъ штрафовалъ каждую по два рубля и потомъ эти штрафныя деньги пропивались всѣмъ міромъ“.

Въ другихъ разсказахъ Чехова встрѣчаемся съ такими же правонарушеніями со стороны мужиковъ.

Въ разсказѣ „Мужики“ читаемъ: „Кто растрчиваетъ и пропиваетъ мірскія, школьныя и церковныя деньги?—Мужикъ. Кто укралъ у сосѣда, поджегъ, ложно показалъ на судѣ за бутылку водки?—Мужикъ“.

Въ разсказѣ „Новая дача“ инженеръ жалуется на совершаемыя мужиками правонарушенія: „Съ самой ранней весны каждый день у меня въ саду и въ лѣсу бываетъ ваше стадо. Все вытоптано, свиньи изрыли лугъ, портятъ въ огородѣ, а въ лѣсу пропалъ весь молоднякъ. Сладу нѣтъ съ вашими пастухами; ихъ просишь, а они грубятъ. Каждый день у меня потрава... Недѣлю назадъ кто-то изъ вашихъ срубилъ у меня въ лѣсу два дубка“...

Въ разсказѣ „На подводѣ“ изображенъ мужикъ, облеченный общественнымъ довѣріемъ. Это—попечитель школы, хозяинъ коженнаго заведенія, неумный и грубый мужикъ. Ему совершенно чуждо чувство законности. Попечитель „кое-что наживалъ съ дровъ и за свое попечительство получалъ съ мужиковъ жалованье, тайно отъ начальства“.

Въ разсказѣ „Въ оврагѣ“ нарисованы типы волостного старшины и волостного писаря, которымъ тоже совершенно чуждо чувство законности. „Волостной старшина и волостной писарь, служившіе вмѣстѣ уже четырнадцать лѣтъ и за все это время не подписавшіе ни одной бумаги, не отпустившіе изъ волостного правленія ни одного человѣка безъ того, чтобы не обмануть и не обидѣть, сидѣли теперь рядомъ, оба толстые, сытые и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лицѣ у нихъ была какая-то особенная, мошенническая“.

Отсутствіе уваженія къ закону замѣчается и въ дѣйствіяхъ цѣлаго общества мужиковъ. Въ разсказѣ „Воры“ выведенъ конокрадъ Калашниковъ „безсердечный воръ, обижающій бѣдняковъ, который уже два раза сидѣлъ въ острогѣ, и общество уже составило приговоръ о томъ, чтобы сослать его въ Сибирь, да откупилась отецъ и дядя, такіе же воры и негодяи, какъ онъ самъ“.

Въ томъ же разсказѣ „Воры“, другой конокрадъ Мерикъ,—разсказываетъ объ одномъ случаѣ мужицкаго самоуправства.

Нѣтъ уваженія къ закону среди низшихъ и среднихъ слоевъ городского населенія. Насилія и обманы составляютъ обыденное явленіе.

Нравы низшихъ рабочихъ классовъ городского населенія описаны въ разсказѣ „Моя жизнь“.

„Кража хозяйской олифы и краски, говоритъ Полозневъ, была у маляровъ въ обычаѣ и не считалась кражей“...

Мясникъ Прокофій по словамъ того же Полознева, „обвѣшивалъ, обсчитывалъ, кухарки видѣли это но, оглушенный его крикомъ, не протестовали, а только обзывали его катомъ“.

Разсказъ „Въ оврагѣ“ посвященъ изображенію мѣщанской жизни. Въ лавкѣ мѣщанина Цыбукина „въ заговѣнье или въ престольный праздникъ, который продолжался три дня, сбывали мужикамъ протухлую солонину съ такимъ тяжкимъ запахомъ, что трудно было стоять около бочки, и принимали отъ пьяныхъ въ закладъ косы, шапки, женины платки. Около лавки въ грязи валялись фабричныя, одурманенныя плохой водкой“, тайная торговля которой шла въ лавкѣ Цыбукина. Жена Цыбукина такъ характеризуетъ жизнь въ ихъ домѣ: „Живемъ мы хорошо, всего у насъ много... только вотъ скучно у насъ. Ужъ очень народъ обижаемъ. Сердце мое болитъ, дружокъ, обижаемъ какъ—и Боже мой! Лошадь ли мѣняемъ, покупаемъ ли что, работника ли нанимаемъ—на всемъ обманъ. Обманъ и обманъ. Постное масло въ лавкѣ горькое, тухлое, у людей деготь лучше“.

Отсутствіе чувства законности—характерная черта всѣхъ классовъ русскаго общества. Предписанія закона нарушаются. Сильные безнаказанно совершаютъ эти нарушенія закона, слабыя удерживаетъ только страхъ наказанія. „Нарушай законъ, но умѣло, такъ, чтобы избѣжать отвѣтственности“,—вотъ правило поведенія тамъ, гдѣ нѣтъ уваженія къ закону. „Украсть всякій можетъ,—говоритъ Анисимъ (въ разсказѣ „Въ оврагѣ“),—да вотъ какъ сберечь! Велика земля, а спрятать украденное негдѣ“. Если можно спрятать, то можно и украсть. Такого мнѣнія придерживается Невыразимовъ въ разсказѣ „Мелюзга“. Мелкій чиновникъ Невыразимовъ думаетъ о лучшей жизни. Но какъ достигнуть лучшаго? „Украсть нешто?“ подумалъ онъ.—Украсть-то, положимъ, не трудно, но вотъ спрятать-то мудрено... Доносъ написать что-ли?... Донести-то можно, да какъ его сочинишь! Надо со всѣми экивоками, съ подходцами... А куда мнѣ! Такое сочиню, что мнѣ же потомъ и влетитъ...“

Въ русскомъ обществѣ, изображенномъ въ сочиненіяхъ Чехова, нѣтъ чувства законности, нѣтъ уваженія къ закону. Мѣсто законности заступаютъ взяточничество, самоуправство, произволъ, насилія, обманы. Встрѣчая на каждомъ шагѣ эти явленія, мы отчасти понимаемъ крикъ отчаянія чеховскихъ героевъ: „такъ больше жить нельзя!“ Если такъ жить нельзя, то какъ же жить иначе? Что дѣлать? Картины юридической жизни русскихъ людей, съ которыми мы познакомились по сочиненіямъ Чехова, даютъ частичный отвѣтъ на этотъ большой вопросъ: необходимо развитіе чувства законности, необходимо уваженіе къ юридическому закону. „Уважайте законъ“—этими двумя словами можно формулировать первый идеалъ права, къ которому должны стремиться русскіе люди, изображенные въ сочиненіяхъ Чехова.

Здѣсь мнѣ необходимо сдѣлать оговорку. Уваженіе къ закону юридическому—идеалъ для общества, которому чуждо чувство законности. Но это не значитъ, что уваженіе къ юридическому закону—единственный идеалъ и что юридическій законъ—единственная норма, опредѣляющая отношенія людей въ обществѣ. Рядомъ съ предписаніями законовъ юридическихъ существуютъ велѣнія нравственности.

Бываютъ случаи, когда предписанія закона юридическаго и велѣнія нравственности совпадаютъ. Взяточничество, на примѣръ, запрещается законами юридическими и законами нравственности. Въ такихъ случаяхъ уваженіе къ юридическому закону имѣетъ безусловное значеніе.

Но бываютъ случаи, когда до нашихъ поступковъ нѣтъ дѣла юридическому закону, когда наши поступки регулируются исключительно правилами нравственности. Случай подобнаго рода приведенъ, на примѣръ, Чеховымъ въ разсказѣ „Въ морѣ“. Объ уваженіи къ закону юридическому здѣсь не можетъ быть и рѣчи.

Наконецъ, бываютъ случаи, когда предписанія юридическаго закона противорѣчатъ велѣніямъ нравственности. Случай такого конфликта права и нравственности описанъ Чеховымъ въ пьесѣ „Ивановъ“.

„Будь у меня сейчасъ 2300 рублей,—говорилъ Боркинъ Иванову,—я бы черезъ двѣ недѣли имѣлъ 20 тысячъ. Не вѣрите? И это, по вашему, вздоръ? Нѣтъ, не вздоръ... Вотъ дайте мнѣ 2300 рублей, и я черезъ недѣлю доставлю вамъ 20 тысячъ. На томъ берегу Овсяновъ продаетъ полоску земли, какъ разъ противъ насъ, за 2300 рублей. Если мы купимъ эту полоску, то оба берега будутъ наши. А если оба берега будутъ наши, то, понимаете-ли, мы имѣемъ право запрудить рѣку. Вѣдь такъ? Мы мельницу будемъ строить, и, какъ только мы объявимъ, что хотимъ запруду сдѣлать, какъ всѣ, которые живутъ внизъ по рѣкѣ, поднимутъ гвалтъ, а мы сейчасъ: коммень—зииръ,—если хотите, чтобы плотины не было, заплатите. Понимаете? Заревская фабрика дастъ пять тысячъ, Корольковъ три тысячи, монастырь дастъ пять тысячъ“...

То, что предлагаетъ Боркинъ,—представляется дѣяніемъ безукоризненнымъ съ точки зрѣнія юридическаго закона. И, однако, Ивановъ не принимаетъ этого предложенія. Почему? Потому что оно предосудительно съ точки зрѣнія нравственнаго закона.

Анна Акимовна („Бабье царство“) получила полторы тысячи рублей, которыя приказчикъ на лѣсной дачѣ „отсудилъ отъ кого-то, выигравъ дѣло во второй инстанціи“. „Анна Акимовна не любила и боялась такихъ словъ, какъ „отсудилъ“ и „выигралъ дѣло“. Она знала, что безъ правосудія нельзя, но почему-то, когда директоръ завода Назарычъ или приказчикъ на дачѣ, которые часто судились, выигрывали въ пользу ея какое нибудь дѣло, то ей всякій разъ становилось жутко и какъ будто совѣстно“.

Выиграть дѣло на судѣ отнюдь не предосудительно съ точки зрѣнія юридическаго закона. Мало того, обратиться къ суду для защиты своихъ правъ—это значитъ показать уваженіе къ юридическому закону, обнаружить чувство законности. Однако, Аннѣ Акимовнѣ почему то всякій разъ было жутко и совѣстно, когда ея уполномоченные выигрывали дѣло въ судѣ. Почему? Очевидно потому, что тѣ предписанія юридическаго закона, на основаніи которыхъ судъ постановляетъ приговоры, не всегда совпадаютъ съ велѣніями нравственнаго закона.

Конфликтъ права и нравственности изображенъ Чеховымъ и въ разсказѣ „Жена“. Въ голодный годъ у помѣщика Павла

Андреевича крестьяне украли 20 кулей ржи. Павелъ Андреевичъ возбуждаетъ уголовное преслѣдованіе противъ крестьянъ. Свои дѣйствія онъ оправдываетъ такими соображеніями: „на всякое дѣло я прежде всего смотрю съ принципіальной стороны Крадетъ ли сытый или голодный—для закона безразлично“.

На другой точкѣ зрѣнія стоитъ жена Павла Андреевича Наталья Гавриловна. Принципъ законности, строгимъ послѣдователемъ котораго является мужъ, вызываетъ въ ней чувство негодованія. Она говоритъ мужу: „Вы справедливы и всегда стоите на почвѣ законности, и потому вы постоянно судитесь съ мужиками и сосѣдями. У васъ украли 20 кулей ржи, и вы изъ любви къ порядку пожаловались на мужиковъ губернатору и всему начальству, а на здѣшнее начальство пожаловались въ Петербургъ... Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете бракъ и семейныя основы, а изъ всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сдѣлали ни одного добраго дѣла, всѣ васъ ненавидятъ, со всѣми вы въ ссорѣ“.

На такой же точкѣ зрѣнія стоитъ старикъ помѣщикъ Брагинъ. По поводу кражи муки голодными мужиками онъ высказываетъ свои соображенія о соотношеніи права и нравственности. „Съ голоду, говоритъ онъ, человѣкъ шалѣетъ, дурѣетъ, становится дикій. Голодъ не картошка. Голодный и грубости говорить, и воруетъ, и, можетъ, еще что похуже... Понимать надо“. Для подтвержденія этого Брагинъ разсказалъ объ одномъ случаѣ. Во время голода три мужика напали въ лѣсу на него и другого помѣщика Ѳедора Ѳедоровича. Нападавшихъ задержали и привели на кухню. „И зло на нихъ беретъ, и глядѣть стыдно: мужики-то знакомые и народъ хорошій, жалко. Совсѣмъ одурѣли съ перепугу. Одинъ плачетъ и прощенія проситъ, другой звѣремъ глядитъ и ругается, третій сталъ на колѣнки и Богу молится. Я и говорю Ѳедѣ: не обижайся, отпусти ты ихъ, подлецовъ! Онъ накормилъ ихъ, далъ по пуду муки и отпустилъ: ступайте къ шуту! Такъ вотъ какъ... Царство небесное, вѣчный покой! Понималъ и не обижался, а были, которые обижались, и сколько народу перепортили“.

Законъ юридическій—одно изъ необходимыхъ условій общезжитія. Но, съ другой стороны, прямолинейное проведеніе принципа

законности въ такой же степени можетъ угрожать общественному прогрессу, какъ произволъ и самоуправство: *summum jus summa injuria!* Поэтому, формулируя идеалъ права для русскихъ людей, изображенныхъ Чеховымъ, словами: „уважайте законъ юридическій“,—необходимо прибавить: „но не забывайте и вѣлѣній закона нравственнаго“. Въ случаѣ конфликта между правомъ и нравственностью—„понимать надо“, по словамъ Брагина, какъ поступить, чтобы не нарушить ни предписаній закона юридическаго, ни вѣлѣній закона нравственнаго.

Законъ—начало формальное. Форма эта наполняется опредѣленнымъ содержаніемъ. Содержаніе закона—права и обязанности людей. Всѣ люди созданы по образу и подобию Божьему всѣ люди обладаютъ человѣческимъ достоинствомъ, а потому всѣ люди обладаютъ правами и несутъ обязанности, или, употребляя техническіе термины, всѣ люди правоспособны, всѣ люди субъекты правъ и обязанностей, личности. Существуетъ ли въ русскомъ обществѣ, изображенномъ Чеховымъ, уваженіе къ человѣческому достоинству всякаго человѣка? Признаетъ ли русское общество всякаго человѣка личностью?

Отрицательный отвѣтъ на этотъ вопросъ даютъ прежде всего тѣ сочиненія Чехова, въ которыхъ изображены люди, именуемые „лишенными правъ“ на юридическомъ языкѣ и „несчастными“ на языкѣ народной мудрости. Они „лишенные правъ“, ибо, по закону, они теряютъ тѣ права, которыми обладали до вступленія въ силу судебного приговора. Но судебный приговоръ не можетъ отнять того человѣческаго достоинства, того образа и подобія Божьяго, которое служитъ основаніемъ правоспособности. И лишенный правъ остается человѣкомъ. На практикѣ, однако, на каждомъ шагѣ унижается человѣческое достоинство лишеннаго правъ; при чемъ законъ отчасти санкціонируетъ такую практику. Лишенные правъ—люди „несчастные“, и несчастье заключается въ униженіи ихъ человѣческаго достоинства.

Въ разсказѣ „Печенѣгъ“ выведенъ помѣщикъ, который безнаказано издѣвается надъ бродягами. Отставной казачій офицеръ Жмухинъ разсказываетъ слѣдующее объ этомъ помѣщикѣ:

„У него шахты, знаете ли. Работаютъ у него безпаспортные, разные бродяги, которымъ дѣваться некуда. По субботамъ надо расчесть давать рабочимъ, а платить не хочется. знаете ли, денегъ жалко. Вотъ онъ и нашелъ себѣ такого приказчика, тоже изъ бродягъ, хотя и въ шляпѣ ходить. Ты, говоритъ, имъ ничего не плати, ни копейки; они тебя будутъ бить и пускай, говоритъ, бьютъ, а ты терпи, я за это каждую субботу буду тебѣ по десяти рублей платить“. Вотъ вечеромъ въ субботу, порядкомъ, какъ водится, рабочіе приходятъ за расчетомъ; приказчикъ имъ: „Нѣту!“ Ну, слово за слово, начинается брань, потасовка.. Бьютъ. бьютъ его, и руками. и ногами, знаете ли,—народъ свѣрѣлый съ голоду то,—бьютъ до безчувствія, а потомъ и уходятъ, кто куда. Хозяинъ велитъ отливать приказчика водой, потомъ ему десять рублей въ зубы, а тотъ и беретъ, да еще радъ, потому въ сущности не то, что за десять, онъ и за трешницу согласится хоть въ петлю. Да... А въ понедѣльникъ приходитъ новая партія рабочихъ; приходитъ, дѣваться некуда... Въ субботу опять та же исторія“.

Бѣглый каторжникъ въ разсказѣ „Мечты“ говоритъ конвоирующимъ его сотскимъ: „Кому какая надобность мое имя знать?.. И какая мнѣ отъ этого польза? Ежели бъ мнѣ дозволили идти, куда я хочу, а то вѣдь хуже теперешняго будетъ. Я, братцы православные, знаю законъ. Теперя я бродяга, непомнящій родства и самое большее, ежели меня въ Восточную Сибирь присудятъ и 30 не то 40 плетей дадутъ, а ежели я имъ свое настоящее имя и званіе скажу, то опять они меня въ каторжную работу пошлютъ“. Каторгу этотъ бродяга, бывший каторжникъ, характеризуетъ слѣдующими словами: „Въ каторгѣ ты все равно, что ракъ въ лукошкѣ: тѣснота, давка, толчея, духу перевести негдѣ—сущій адъ, такой адъ, что и не приведи Царица Небесная! Разбойникъ ты и разбойничья тебѣ честь, хуже собаки всякой“.

Каторжнику хуже, чѣмъ собакѣ. Въ каторжникѣ не уважается человѣческое достоинство. Въ частности, каторжника можно подвергнуть унизительному тѣлесному наказанію. Яковъ Ивановичъ Тереховъ (разсказъ „Убіѣство“) былъ приговоренъ къ каторжнымъ работамъ на двадцать лѣтъ. „Мѣсяца черезъ три по прибытіи на каторгу, чувствуя сильную, непобѣдимую тоску по

родинѣ, онѣ поддался искушенію и бѣжалъ, а его скоро поймали, присудили къ безсрочной каторгѣ и дали ему сорокъ плетей; потомъ его еще два раза наказывали розгами за растрату казеннаго платья, хотя это платье въ оба раза было у него украдено“.

Яркая картина униженій человѣческаго достоинства каторжника нарисована въ „Островѣ Сахалинѣ“. Приведу нѣкоторыя характеристики быта каторжниковъ изъ этого сочиненія Чехова.

Въ разсказѣ о посѣщеніи Дуйскихъ копей Чеховъ описываетъ поселенческій баракъ. „Около рудничной конторы стоитъ баракъ для поселенцевъ, работающихъ въ копахъ, небольшой старый сарай, кое какъ приспособленный для ночевки. Я былъ тутъ въ 5 часовъ утра, когда поселенцы только что встали. Какая вонь, темнота, давка! Головы разлохмаченныя. точно всю ночь у этихъ людей происходила драка, лица желто-сѣрыя и съ просонья, выраженья какъ у больныхъ или сумасшедшихъ. Видно, что они спали въ одеждѣ и въ сапогахъ, тѣсно прижавшись другъ къ другу, кто на нарѣ, а кто и подъ нарой, прямо на грязномъ земляномъ полу“.

Позже, въ разсказѣ о своемъ пребываніи въ селеніи Дербинскомъ, Чеховъ вспоминаетъ объ этомъ поселенческомъ баракѣ, какъ о такомъ мѣстѣ, гдѣ личность человѣка унижена до крайней степени.

Въ Дербинскомъ Чеховъ ночевалъ въ новомъ амбарѣ, который находился рядомъ съ тюрьмой.

„Было спокойно и въ амбарѣ, и у меня на душѣ, но едва я тушилъ свѣчку и ложился въ постель, какъ слышались шорохъ, шопотъ, стуки, плесканье, глубокіе вздохи... кто-то шепталъ въ отчаяніи: „Ахъ, Боже мой, Боже мой!“

Утромъ выхожу на крыльцо. Небо сѣрое, унылое, идетъ дождь, грязно. Отъ дверей къ дверямъ торопливо ходитъ смотритель съ ключами.

— Я тебѣ пропишу такую записку, что потомъ не вѣлю чекаться будешь!—кричитъ онъ.—Я тебѣ покажу записку

Эти слова относятся къ толпѣ человѣкъ въ двадцать каторжныхъ, которые, какъ можно судить по немногимъ долетѣвшимъ до меня фразамъ, просятъ въ больницу. Они оборваны, вымокли

на дождѣ, забрызганы грязью, дрожать; они хотятъ выразить мимикой, что имъ въ самомъ дѣлѣ больно, но на озябшихъ, застывшихъ лицахъ выходитъ что-то кривое, лживое, хотя, быть можетъ, они вовсе не лгутъ. „Ахъ, Боже мой, Боже мой!“ — вздыхаетъ кто-то изъ нихъ, и мнѣ кажется, что мой ночной кошмаръ все еще продолжается. Приходитъ на умъ слово „парія“, означающее въ обиходѣ состояніе человѣка, ниже котораго уже нельзя упасть. За все время, пока я былъ на Сахалинѣ, только въ поселенческомъ баракѣ около рудника, да здѣсь, въ Дербинскомъ, въ это дождливое, грязное утро, были моменты, когда мнѣ казалось, что я вижу крайнюю, предѣльную ступень униженія человѣка, дальше которой нельзя уже идти.“

Но кромѣ поселенческаго барака около рудника въ Дуйскихъ копяхъ и Дербинскаго, и въ другихъ мѣстахъ, почти на каждомъ шагу, Чеховъ встрѣчалъ на Сахалинѣ печальныя картины униженія человѣческаго достоинства каторжника.

Онъ рассказываетъ объ униженіи человѣческаго достоинства тѣхъ каторжниковъ, которые попадаютъ въ штатъ домашней прислуги сахалинскихъ чиновниковъ. „Каждый чиновникъ, даже состоящій въ чинѣ канцелярскаго служителя, можетъ брать себѣ неограниченное количество прислуги... Отдача каторжныхъ въ услуженіе частнымъ лицамъ находится въ полномъ противорѣчій со взглядомъ законодателя на наказаніе; это — не каторга, а крѣпостничество, такъ какъ каторжный служить не государству, а лицу, которому нѣтъ никакого дѣла до исправительныхъ цѣлей или до идеи равнобѣрности наказанія; онъ — не ссыльно-каторжный, а рабъ, зависящій отъ воли барина и его семьи.“

Чеховъ свидѣтельствуетъ объ униженіи человѣческаго достоинства каторжной женщины. „Мѣстная практика выработала особенный взглядъ на каторжную женщину, существовавшій, вѣроятно, во всѣхъ ссыльныхъ колоніяхъ: не то она человѣкъ, хозяйка, не то существо, стоящее ниже домашнего животнаго. Поселенцы селенія Сиска подали окружному начальнику такое прошеніе: «Просимъ покорнѣйше, ваше высокоблагородіе, отпустить намъ рогатаго скота для млекопитанія въ вышеупомянутую мѣстность и женскаго пола для устройства внутренняго хозяйства.» Начальникъ острова, бесѣдуя въ моемъ присутствіи

съ поселенцами селенія Ускова и давая имъ разныя обѣщанія, сказалъ, между прочимъ:

— И насчетъ женщинъ васъ не оставляю.

— Не хорошо, что женщинъ присылаютъ сюда изъ Россіи не весной, а осенью,—говорилъ мнѣ одинъ чиновникъ.—Зимой бабѣ нечего дѣлать, она не помощница мужику, а только лишній ротъ. Поэтому-то хорошіе хозяева берутъ ихъ осенью неохотно.

Такъ разсуждаютъ осенью о рабочихъ лошадяхъ, когда предвидятся зимою дорогіе кормы. Человѣческое достоинство, а также женственность и стыдливость каторжной женщины не принимаются въ расчетъ ни въ какомъ случаѣ; какъ бы подразумевается, что все это выжжено въ ней ея позоромъ, или утрачено ею, пока она таскалась по тюрьмамъ и этапамъ. По крайней мѣрѣ, когда ее наказываютъ тѣлесно, то не стѣсняются соображеніемъ, что ей можетъ быть стыдно“.

Унижается человѣческое достоинство каторжнаго, когда его заставляютъ замѣнять вьючныхъ животныхъ. Случаи такой замѣны животныхъ людьми Чеховъ наблюдалъ неоднократно.

На Сахалинѣ „ислѣдователи, когда отправляются вглубь острова, въ тайгу, то берутъ съ собой американскіе консервы, красное вино, тарелки, вилки, подушки и все, что только можно взвалить на плечи каторжнымъ, замѣняющимъ на Сахалинѣ вьючныхъ животныхъ“.

На каторгѣ въ Александровскѣ „самыми тяжелыми считаются плотницкія работы. Вся тягость работы не въ самой постройкѣ, а въ томъ, что каждое бревно, идущее въ дѣло, каторжный долженъ притащить изъ лѣса, а рубка въ настоящее время производится за 8 верстъ отъ поста. Лѣтомъ люди, запряженные въ бревно въ полъ аршина и толще, а въ длину въ нѣсколько сажень, производятъ тяжелое впечатлѣніе; выраженіе ихъ лицъ страдальческое“.

Въ Корсаковскѣ „смотритель тюрьмы больше всего любитъ показывать пріѣзжимъ пожарный обозъ“. Здѣсь каторжники замѣняютъ пожарныхъ лошадей.

Униженіе своего человѣческаго достоинства испытываютъ, по свидѣтельству Чехова, каторжные всякій разъ при встрѣчахъ и столкновеніяхъ съ администраціей и свободными людьми.

Чеховъ такими словами описываетъ свое посѣщеніе Александровской ссыльно-каторжной тюрьмы: „На Сахалинѣ свободные, при входѣ въ камеры, не снимаютъ шапокъ. Эта вѣжливость обязательна только для ссыльныхъ. Мы въ шапкахъ ходимъ около наръ, а арестанты стоятъ руки по швамъ и молча глядятъ на насъ. Мы тоже молчимъ и глядимъ на нихъ, и похоже на то, какъ будто мы пришли покупать ихъ“.

„На югѣ уцѣлѣлъ дурной обычай, введенный когда-то какимъ-то давно уже забытымъ полковникомъ, а именно - когда вамъ, свободному человѣку, встрѣчается на улицѣ или на берегу группа арестантовъ, то уже за 50 шаговъ вы слышите крикъ надзирателя: „Смир-р-рно! Шапки долой!“ И мимо васъ проходятъ угрюмые люди съ обнаженными головами и глядятъ на васъ исподлобья, точно если бы они сняли шапки не за 50, а за 20 — 30 шаговъ, то вы побили бы ихъ палкой, какъ г. Z или г. N“.

На полуостровѣ при впаденіи Такоа въ Найбу, рассказываетъ Чеховъ, — сторожемъ состоитъ „старикъ Савельевъ, каторжный, который, когда здѣсь ночуютъ чиновники, служить за лакея и повара. Какъ-то, прислуживая за обѣдомъ мнѣ и одному чиновнику, онъ подаль что-то не такъ, какъ нужно, и чиновникъ крикнулъ на него строго: „Дуракъ!“ Я посмотрѣлъ тогда на этого безотвѣтнаго старика и, помнится, подумалъ, что русскій интеллегентъ до сихъ поръ только и сумѣлъ сдѣлать изъ каторги, что самымъ пошлымъ образомъ свелъ ее къ крѣпостному праву“.

„Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ сахалинская интеллигенція отличалась полнѣйшимъ нравственнымъ ничтожествомъ. При тогдашнихъ чиновникахъ тюрьмы обращались въ пріюты разврата, игорные дома, людей развращали, ожесточали, застѣкали до мертва“...

Такъ было раньше. Но „и теперь, говоритъ Чеховъ, встрѣчаются чиновники, которымъ ничего не стоитъ размахнуться и ударить по лицу ссыльнаго, даже привилегированнаго, или приказать человѣку который въ торопяхъ не снялъ шапки: „пойди къ смотрителю и скажи, чтобъ онъ далъ тебѣ тридцать розогъ“.

Тѣлесныя наказанія, которымъ часто подвергаются каторжники унижаютъ ихъ человѣческое достоинство.

„Наказанія, унижающія преступника, ожесточающія его и способствующія огрубѣнію нравовъ и давно уже признанныя вредными для свободнаго населенія, оставлены для поселенцевъ и каторжныхъ, какъ будто бы ссыльное населеніе подвержено меньшей опасности огрубѣть, ожесточиться и потерять человѣческое достоинство. Розги, плети, приковываніе къ тѣлежкѣ,—наказанія, позорящія личность преступника, причиняющія его тѣлу боль и мученія,—примѣняются здѣсь широко. Самое употребительное наказаніе—розги... Плети примѣняются гораздо рѣже, только вслѣдствіе приговоровъ окружныхъ судовъ... Это наказаніе изъ всѣхъ употребляемыхъ на Сахалинѣ самое отвратительное по своей жестокости и обстановкѣ“. Чеховъ, какъ очевидецъ, рассказываетъ о наказаніи плетями каторжника на Сахалинѣ. Этотъ простой рассказъ писателя-художника, который я приведу цѣликомъ, является рѣзкимъ протестомъ противъ тѣлесныхъ наказаній.

„Какъ наказываютъ плетями я видѣлъ въ Дуэ. Бродяга Прохоровъ, онъ же Мыльниковъ, человѣкъ лѣтъ 35—40, бѣжалъ изъ Воеводской тюрьмы и, устроивши небольшой плотъ, поплылъ на немъ къ материку. На берегу, однако, замѣтили во время и послали за нимъ въ догонку катеръ. Началось дѣло о побѣгѣ, заглянули въ статейный списокъ и вдругъ сдѣлали открытіе: этотъ Прохоровъ, онъ же Мыльниковъ, въ прошломъ году за убійство казака и двухъ внучекъ былъ приговоренъ Хабаровскимъ окружнымъ судомъ къ 90 плетямъ и прикованію къ тачкѣ, наказаніе же это, по недосмотру, еще не было приведено въ исполненіе. Если бы Прохоровъ не вздумалъ бѣжать, то, быть можетъ, такъ бы и не замѣтили ошибки и дѣло обошлось бы безъ плетей и тачки, теперь же экзекуція была неизбежна. Въ назначенный день, 13 августа, утромъ, смотритель тюрьмы, врачъ и я подошли не спѣша къ канцеляріи; Прохоровъ, о приводѣ котораго было сдѣлано распоряженіе еще наканунѣ, сидѣлъ на крыльцѣ съ надзирателями. не зная еще, что ожидаетъ его. Увидавъ насъ, онъ всталъ и, вѣроятно, понялъ, въ чемъ дѣло, такъ какъ сильно поблѣднѣлъ.

— Въ канцелярію!—приказалъ смотритель.

Вошли въ канцелярію. Ввели Прохорова. Докторъ, молодой нѣмецъ, приказалъ ему раздѣться и выслушалъ сердце для того,

чтобъ опредѣлить, сколько ударовъ можетъ вынести этотъ арестантъ. Онъ рѣшаетъ этотъ вопросъ въ одну минуту и затѣмъ съ дѣловымъ видомъ садится писать актъ осмотра.

— Ахъ бѣдный!—говоритъ онъ жалобнымъ тономъ съ сильнымъ нѣмецкимъ акцентомъ, макая перо въ чернильницу. Тебѣ, небось, тяжело въ кандалахъ! А ты попроси вотъ господина смотрителя, онъ велитъ снять.

Прохоровъ молчитъ; губы у него блѣдны и дрожать.

— Тебя вѣдь понапрасну,—не унимается докторъ. Всѣ вы понапрасну. Въ Россіи такіе подозрительные люди! Ахъ, бѣдный, бѣдный!

Актъ готовъ; его приобщаютъ къ слѣдственному дѣлу о побѣгѣ. Затѣмъ наступаетъ молчаніе. Писарь пишетъ, докторъ и смотритель пишутъ... Прохоровъ еще не знаетъ навѣрное, для чего его позвали сюда: только по одному побѣгу или же по старому дѣлу и побѣгу виѣстъ? Неизвѣстность томитъ его.

— Что тебѣ снилось въ эту ночь? спрашиваетъ, наконецъ смотритель.

— Забылъ, ваше высокоблагородіе.

— Такъ вотъ слушай,—говоритъ смотритель, глядя въ статейный списокъ.—Такого то числа и года Хабаровскимъ окружнымъ судомъ за убійство казака ты приговоренъ къ девяносто плетямъ... Такъ вотъ сегодня ты долженъ ихъ принять.

И, похлопавъ арестанта ладонью по лбу, смотритель говоритъ наставительно:

— А все отчего? Оттого, что хочешь быть умнѣ себя, голова. Все бѣгае, думаете, лучше будетъ, а выходитъ хуже.

Идемъ всѣ въ „помѣщеніе для надзирателей“—старое сѣрое зданіе барачнаго типа. Военный фельдшеръ, стоящій у входа, проситъ умоляющимъ голосомъ, точно милостыни:

— Ваше высокоблагородіе, позвольте посмотрѣть, какъ наказываютъ!

Посреди надзирательской стоитъ покатая скамья съ отверстіями для привязыванія рукъ и ногъ. Палачъ Толстыхъ, высокій, плотный человѣкъ, имѣющій сложеніе силача-акробата, безъ сюртука, въ разстегнутой жилеткѣ, киваетъ головой Прохорову; тотъ молча ложится. Толстыхъ, не спѣша, тоже молча, спускаетъ ему

штаны до колѣнъ и начинаетъ медленно привязывать къ скамѣ руки и ноги. Смотритель равнодушно поглядываетъ въ окно, докторъ прохаживается. Въ рукахъ у него какія то капли.

— Можетъ, дать тебѣ стаканъ воды? — спрашиваетъ онъ.

— Ради Бога, ваше высокоблагородіе.

Наконецъ, Прохоровъ привязанъ. Палачъ беретъ плетъ съ тремя ременными хвостами и неспѣша расправляетъ ее.

— Поддержись! — говоритъ онъ не громко и, не размахиваясь, а какъ бы только примѣриваясь, наноситъ первый ударъ.

— Ра-азъ! — говоритъ надзиратель дьячковскимъ голосомъ.

Въ первое мгновеніе Прохоровъ молчитъ и даже выраженіе лица у него мѣняется, но вотъ по тѣлу пробѣгаетъ судорога отъ боли и раздается не крикъ, а визгъ.

— Два! — кричитъ надзиратель.

Палачъ стоитъ сбоку и бьетъ такъ, что плетъ ложится поперекъ тѣла. Послѣ каждаго пяти ударовъ онъ медленно переходитъ на другую сторону и даетъ отдохнуть полминуты. У Прохорова волосы прилипли ко лбу, шея надулась; уже послѣ 5—10 ударовъ тѣло, покрытое рубцами еще отъ прежнихъ плетей, побагровѣло, посинѣло; кожаца лопається на тѣлѣ отъ каждаго удара.

— Ваше высокоблагородіе! — слышится сквозь визгъ и плачь. Ваше высокоблагородіе! Пощадите, ваше высокоблагородіе!

И потомъ послѣ 20—30 ударовъ Прохоровъ причитываетъ, какъ пьяный или точно въ бреду:

— Я человѣкъ несчастный, я человѣкъ убитый... За что же это меня наказываютъ?

Вотъ уже какое то странное вытягиваніе шеи, звуки рвоты... Прохоровъ не произноситъ ни одного слова, а только мычитъ и храпитъ; кажется, что съ начала наказанія прошла цѣлая вѣчность, но надзиратель кричитъ только: „сорокъ два! сорокъ три!“ До девяносто далеко. Я выхожу наружу. Кругомъ на улицѣ тихо, и раздрающіе звуки изъ надзирательской, мнѣ кажется, доносятся по вѣсму Дуэ. Вотъ прошелъ мимо каторжный въ вольномъ платьѣ, мелькомъ взглянулъ на надзирательскую, и на лицѣ его и даже въ походкѣ выразился ужасъ. Вхожу опять въ надзирательскую, потомъ опять выхожу, а надзиратель все еще считаетъ.

Наконецъ девяносто. Прохорову быстро распутываютъ руки и ноги и помогаютъ ему подняться. Мѣсто, по которому били, синевато-розово отъ кровоподтековъ и кровоточинъ. Зубы стучать, лицо желтое, мокрое, глаза блуждаютъ. Когда ему даютъ капель, онъ судорожно кусаетъ стаканъ... Помогли ему голову и повели въ окоподоки.

Это за убійство, а за побѣгъ еще будетъ особо, — поясняютъ мѣ, когда мы возвращаемся домой.

Люблю смотрѣть, какъ ихъ наказываютъ! — говоритъ радостно военный фельдшеръ, очень довольный, что насытился отвратительнымъ зрѣлищемъ. Люблю! Это такіе негодяи, мерзавцы... вѣшать ихъ!

Отъ тѣсныхъ наказаній грубѣютъ и ожесточаются не одни только арестанты, но и тѣ, которые наказываютъ и присутствуютъ при наказаніи. Неключенія не составляютъ даже образованные люди.

Не смотря на постоянныя униженія человѣческаго достоинства, каторжники все таки остаются человѣкомъ, созданнымъ по образу и подобию Божьему. Бываютъ случаи, когда ярко проявляются и въ каторжномъ лучшія человѣческія чувства. Чеховъ указываетъ на такое проявленіе лучшихъ человѣческихъ чувствъ въ отношеніяхъ каторжанъ къ дѣтямъ, сожителямъ и къ церковнымъ обрядамъ.

Самые полезные, самые нужные и самые пріятные люди на Сахалинѣ — это дѣти, и сами сельские хорошо понимаютъ это и просто любятъ ихъ. Въ отрубившую, нравственно истасканную семью они вносятъ элементъ чуждыхъ чистоты, кротости, радости. Присутствие дѣтей — казываетъ сильнымъ нравственную поддержку. Дѣти часто составляютъ то единственное, что привлекаетъ еще оставшихся мужчинъ и женщинъ къ жизни, спасая ихъ отъ паденія отъ окончательнаго паденія.

Но каторжники относятся къ дѣтямъ, такъ по словамъ Чехова: "какъ къ живымъ игрушкамъ, какъ къ кукламъ, а держатъ ими... какъ кошками, которыхъ можно пощипывать незаконныя семьи, но не любить и не уважать". Дѣти же въ концѣ концовъ чистомъ прихоти каторжанъ.

А каторжники, когда въ каторжномъ барака съ каменными стенами, въ которомъ дѣти разлѣзты на головы

жениха и невѣсты вѣнцы и просилъ Бога, чтобы онъ вѣнчалъ ихъ славою и честью, то лица присутствовавшихъ женщинъ выражали умиленіе и радость, и, казалось, было забыто, что дѣйствіе происходитъ въ тюремной церкви, на каторгѣ, далеко-далеко отъ родины“.

Не смотря на всѣ ужасы каторги, каторжники—все же люди, которымъ не чужды и лучшія свойства человѣческаго духа. И въ каторжникѣ не засыпаетъ сознаніе жизни, любовь къ родинѣ, стремленіе къ свободѣ, „присущее, по словамъ Чехова, человѣку и составляющее, при нормальныхъ условіяхъ, одно изъ благороднѣйшихъ свойствъ“. Этимъ объясняются побѣги каторжниковъ.

Для предупрежденія побѣговъ употребляются главнымъ образомъ репрессивныя мѣры. Эти мѣры, по мнѣнію Чехова, не имѣютъ и не могутъ имѣть будущности. Онѣ сильно расходятся съ идеалами нашего законодательства, которое въ наказаніи видитъ прежде всего средство къ исправленію. Когда вся энергія и изобрѣтательность тюремщика изо дня въ день уходитъ только на то, чтобы поставить арестанта въ такія сложныя физическія условія, которыя сдѣлали бы невозможнымъ побѣгъ, то тутъ уже не до исправленія, и можетъ быть разговоръ только о превращеніи арестанта въ звѣря, а тюрьмы—въ звѣринецъ“. Дѣйствительное значеніе могутъ имѣть гуманныя мѣры, въ основѣ которыхъ лежитъ признаніе человѣческаго достоинства и въ преступникѣ. „Всякое улучшеніе въ жизни арестанта, будетъ ли то лишній кусокъ хлѣба арестанту или надежда на лучшее будущее... значительно понижаетъ число побѣговъ..... Чѣмъ легче живется арестанту, тѣмъ меньше опасности, что онъ убѣжитъ, и въ этомъ отношеніи можно признать очень надежными такія мѣры, какъ улучшеніе тюремныхъ порядковъ, постройка церквей, учрежденіе школъ и больницъ, обезпеченіе семействъ ссыльныхъ, заработки и т. п.“.

На точкѣ зрѣнія такого отношенія къ ссыльному, т. е. на точкѣ признанія за нимъ человѣка, созданнаго по образу и подобию Божьему, стоитъ, по свидѣтельству Чехова, духовенство на Сахалинѣ. „Сахалинскіе священники всегда держались въ сторонѣ отъ наказанія и относились къ ссыльнымъ не какъ къ преступникамъ, а какъ къ людямъ, и въ этомъ отношеніи проявили боль-

ше такта и пониманія своего долга, чѣмъ врачи или агрономы, которые часто вмѣшивались не въ свое дѣло“.

„Островъ Сахалинъ“ обыкновенно ставится въ сторонѣ отъ другихъ сочиненій Чехова. Критика почти не касается его; въ собраніяхъ сочиненій Чехова, изданныхъ Марксомъ, „Островъ Сахалинъ“ напечатанъ въ концѣ, какъ бы въ видѣ приложенія къ рассказамъ и пьесамъ. По моему мнѣнію, „Островъ Сахалинъ“ тѣсно связанъ съ другими произведеніями Чехова. Во-первыхъ, Чеховъ, какъ авторъ „Острова Сахалина“, — остается писателемъ художникомъ; многія страницы „Острова Сахалина“ прямо могутъ быть перенесены въ художественную литературу. Во-вторыхъ, одни и тѣ же мотивы литературнаго творчества встрѣчаются и въ „Островѣ Сахалинѣ“ и въ рассказахъ и пьесахъ Чехова. Въ частности, униженіе человѣческой личности, характеризующее жизнь каторжника въ „Островѣ Сахалинѣ“, является одной изъ характерныхъ чертъ русской жизни вообще въ рассказахъ и пьесахъ Чехова.

Въ галлерей выведенныхъ Чеховымъ типовъ лишь въ видѣ рѣдкаго исключенія встрѣчаются люди, уважающіе человѣческое достоинство въ себѣ и въ другихъ. Есть люди, которымъ стыдно и мучительно дѣлается при видѣ того, какъ унижается достоинство человѣка. Таковъ, напримѣръ, докторъ Андрей Ефимычъ въ „Палатѣ № 6“, Полозневъ въ рассказѣ „Моя жизнь“, Вѣра въ рассказѣ „Въ родномъ углу“, Саша въ рассказѣ „Невѣста“, студентъ Трофимовъ въ пьесѣ „Вишневый садъ“ и др.

Типы русскихъ людей, уважающихъ человѣческое достоинство въ себѣ и другихъ, — исключенія. Въ большинствѣ случаевъ, въ русскомъ обществѣ, изображенномъ Чеховымъ, уважается не человѣческое достоинство, а сила, внѣшними показателями которой служатъ — благородное происхожденіе, чины, ордена, богатство...

Благородное происхожденіе пользуется особеннымъ уваженіемъ въ глазахъ, напримѣръ, помѣщицы Олимпіады Егоровны Хлыкиной. Хлыкина ѣдетъ къ предводителю дворянства жаловаться на своего мужа, обвиняя его въ томъ, что онъ „званіе свое забываетъ“. „Это хорошо, говоритъ она, ежели благородный человѣкъ со всякою шушвалью компанію водить? Да хоть бы съ купцомъ Гусевымъ. Я этого Гусева и къ порогу не допускаю, а онъ съ

нимъ въ шашки играетъ да закусывать къ нему ходить. Нешто прилично ему съ писаремъ на охоту ходить? О чемъ онъ можетъ съ писаремъ разговаривать? Писарь не только что разговаривать, пискнуть при немъ не смѣй... (Послѣдняя могиканша).

Свое мнѣніе о преимуществахъ благороднаго человѣка въ сравненіи съ людьми простыми („подлыми“, какъ говорили въ XVIII в.) помѣщица Хлыкина, очевидно, считаетъ безспорной, не требующей доказательствъ истиной.

Архитекторъ Полозневъ (въ рассказѣ „Моя жизнь“) приводитъ нѣкоторыя доказательства въ защиту этого мнѣнія. Онъ говоритъ своему сыну, который хотѣлъ заняться физическимъ трудомъ: „Пойми ты, глупый человѣкъ....., что у тебя, кромѣ грубой физической силы, есть еще духъ Божій, святой огонь, который въ высочайшей степени отличаетъ тебя отъ осла или отъ гада и приближаетъ къ божеству! Этотъ огонь добывался тысячи лѣтъ лучшими изъ людей. Твой прадѣдъ, Полозневъ, генералъ, сражался при Бородинѣ, дѣдъ твой былъ поэтъ, ораторъ и предводитель дворянства, дядя педагогъ, наконецъ, я, твой отецъ,—архитекторъ.. Всѣ Полозневы хранили святой огонь для того, чтобы ты погасилъ его“.

Павель Ильичъ Рашевичъ (рассказъ „Въ усадьбѣ“) излагаетъ уже цѣлую научную теорію о преимуществахъ благороднаго происхожденія. Онъ говоритъ судебному слѣдователю Мейеру:

— „Какъ хотите-съ, съ точки зрѣнія братства, равенства и прочее, свинопасъ Митька, пожалуй, такой же человѣкъ, какъ Гёте или Фридрихъ Великій; но станьте вы на научную почву, имѣйте мужество заглянуть фактамъ прямо въ лицо, и для васъ станетъ очевиднымъ, что бѣлая кость—не предразсудокъ, не бабья выдумка. Бѣлая кость, дорогой мой, имѣетъ естественно-историческое оправданіе, и отрицать ее, по моему, такъ же странно, какъ отрицать рога у оленя. Надо считаться съ фактами. Вы—юристъ и не вкусили никакихъ другихъ наукъ, кромѣ гуманитарныхъ, и вы еще можете обольщать себя иллюзіями на счетъ равенства, братства и прочее; я же—неисправимый дарвинистъ, и для меня такія слова, какъ порода, аристократизмъ, благородная кровь,—не пустые звуки... Тѣмъ, что у человѣчества есть хорошаго, мы обязаны именно природѣ, правильному естественно-

историческому, цѣлесообразному ходу вещей, старательно, въ продолженіе вѣковъ обособлявшему бѣлую кость отъ черной. Да, батенька мой! не чумазый же. не кухаркинъ сынъ, дажь намъ литературу, науку, искусства, право, понятія о чести, долгѣ... Всѣмъ этимъ человѣчество исключительно обязано бѣлой кости, и въ этомъ смыслѣ, съ точки зрѣнія естественно-исторической, плохой Собакевичъ, только потому, что онъ,—бѣлая кость, полезнѣе и выше, чѣмъ самый лучший купецъ, хотя бы этотъ послѣдній построилъ пятнадцать музеевъ. Какъ хотите-съ! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю его съ собою за столъ, то этимъ самымъ я охраняю лучшее, что есть на землѣ, и исполняю одно изъ высшихъ предназначеній матери-природы, ведущей насъ къ совершенству*.

Съ точки зрѣнія Хлыкиной, Полознева-отца и Рашевича, очевидно, благородное происхожденіе („бѣлая кость“) заслуживаетъ особеннаго уваженія. А слѣдовательно, по ихъ мнѣнію, люди простые не могутъ претендовать на равное человѣческое достоинство съ людьми благородными.

По мнѣнію другихъ, особеннаго уваженія заслуживаетъ чинъ и орденъ.

Въ разсказѣ „Упразднили“ чинъ и человѣческое достоинство — понятія тождественныя: нѣтъ чина, нѣтъ и человѣческаго достоинства. Прапорщикъ Вывертовъ узналъ, что чинъ прапорщика упраздненъ. „Ежели я теперь не прапорщикъ, говоритъ Вывертовъ, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало быть мнѣ можетъ теперь всякій сгрубить, можетъ на меня тыкнуть“... „Что же ты молчишь, харя?—набросился онъ внезапно на казачка Илюшку. Груби! Издѣвайся! Тыкай на уничтоженнаго! Торжествуй!“

Подобно чину, и орденъ отождествляется съ понятіемъ человѣческаго достоинства.

Коллежскій регистраторъ Пустяковъ, отправляясь на обѣдъ къ купцу Спичкину, проситъ поручика Леденцова одолжить ему орденъ Станислава. „Ты знаешь, говоритъ онъ, этого подлеца Спичкина: онъ страшно любитъ ордена и чуть ли не мерзавцами считаетъ тѣхъ, у кого не болтается что нибудь на шеѣ или въ петлицѣ“.

Та обаятельная сила, какою пользуются чины и ордена въ глазахъ русскаго человѣка, изображена Чеховымъ также въ разсказѣ „Толстый и тонкій“.

На вокзалѣ встрѣтились два пріятеля: одинъ толстый, другой тонкій. Въ толстомъ тонкій узналъ друга дѣтства, съ которымъ онъ вмѣстѣ учился въ гимназіи. Пріятели троекратно облобызались и устремили другъ на друга глаза, полные слезъ: Оба были пріятно ошеломлены. Начались воспоминанія о прошломъ и распросы о настоящемъ. „Въ гимназіи вмѣстѣ учились!“ вспоминалъ тонкій. „Помнишь, какъ тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратомъ за то, что ты казенную книжку папироской прожегъ, а меня Эфіальтомъ за то, что я ябедничать любилъ. Хо-хо... Дѣтьми были...“ „Ну какъ живешь другъ?—спросилъ толстый, восторженно глядя на друга.—Служишь гдѣ? Дослужился?“ Тонкій отвѣтилъ: „Служу, милый мой! Коллежскимъ ассесоромъ уже второй годъ и Станислава имѣю. Жалованье плохое... ну да Богъ съ нимъ!... Ну, а ты какъ? Небось уже статскій? А?“—„Нѣтъ, мой милый, поднимай повыше,—сказалъ толстый.—Я уже до тайнаго дослужился... Двѣ звѣзды имѣю“. Это сообщеніе о чинѣ тайнаго совѣтника и двухъ звѣздахъ произвело чудеса: „Тонкій вдругъ поблѣднѣлъ, окаменѣлъ, но скоро лицо его искривилось во всѣ стороны широчайшей улыбкой; казалось, что отъ лица и глазъ его посыпались искры. Самъ онъ съежился, сгорбился, сузился...“ Совершенно перемѣнивъ тонъ, тонкій захихикалъ: „Я, ваше превосходительство... Очень пріятно-съ. Другъ, можно сказать, дѣтства и вдругъ вышли въ такіе-съ вельможи! Хи-хи-съ“.

Наконецъ, въ глазахъ нѣкоторыхъ русскихъ людей особеннаго уваженія заслуживаетъ богатство.

Въ разсказѣ „Степь“ еврей Соломонъ, братъ содержателя постоялаго двора Моисей, на вопросъ проѣзжающихъ—„что подѣлываешь?“—отвѣтилъ:

— „То же, что и всѣ... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, братъ лакей у проѣзжающихъ, проѣзжающіе лакеи у Варламова (милліонера), а еслибъ я имѣлъ десять милліоновъ, то Варламовъ былъ бы у меня лакеемъ.“

— То есть почему же это онъ былъ бы у тебя лакеемъ?

— Почему? А потому, что нѣтъ такого барина или миллионера, который изъ за лишней копѣйки не сталъ бы лизать рукъ у жида пархатаго. Я теперь жидъ пархатый и нищій, всѣ на меня смотрять, какъ на собаку, а еслибъ у меня были деньги, то Варламовъ передо мною ломалъ бы такого дурака, какъ Моисей передъ вами“.

Тамъ, гдѣ уважается сила, не признается человѣческое достоинство въ слабомъ человѣкѣ, тамъ слабые—униженные и обиженные. Въ сочиненіяхъ Чехова выведенъ цѣлый рядъ общественныхъ группъ и отдѣльных лицъ, человѣческое достоинство которыхъ унижается и оскорбляется.

Остановимся прежде всего на разсказѣ Чехова „Гусевъ“.

Дѣйствіе происходитъ на океанскомъ пароходѣ. Одинъ изъ пассажировъ Павелъ Ивановичъ говоритъ больнымъ солдатамъ, возвращающимся на родину со службы на Дальнемъ Востока:

„Вы люди темные, слѣпые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вамъ говорятъ, что вѣтеръ съ цѣпи срывается, что вы скоты, печенѣги, вы и вѣрите; но шеѣ васъ бьютъ, вы ручку цѣлуете; ограбить васъ какое нибудь животное въ енотовой шубѣ и потомъ швырнетъ вамъ пятиалтынный на чай, а вы: „пожалуйте, баринъ ручку“. Парии вы, жалкіе люди“.

И, дѣйствительно, то, что узналъ Павелъ Ивановичъ о прошломъ солдатъ, возвращающихся со службы, подтверждаетъ его мнѣніе, что это—парии, жалкіе люди, люди темные, слѣпые, забитые.

„Мнѣ все казалось страннымъ, говоритъ Павелъ Ивановичъ, какъ это вы тяжело больные, вмѣсто того, чтобы находиться въ покоѣ, очутились на пароходѣ, гдѣ и духота, и жара, и качка, все, однимъ словомъ, угрожаетъ вамъ смертью, теперь же для меня все ясно... Да... ваши доктора сдали васъ на пароходъ, чтобы отвязаться отъ васъ. Надоѣло съ вами возиться, со скотами. Денегъ вы имъ не платите, возня съ вами, да и отчетность своими смертями портите, — стало быть, скоты! А отдѣлаться отъ васъ не трудно... Для этого нужно только, во первыхъ, не имѣть совѣсти и челоуѣколюбія и, во вторыхъ, обмануть пароходное начальство. Первое условіе можно хоть и не считать. въ этомъ отношеніи

мы артисты, а второе всегда удается при нѣкоторомъ навыкѣ. Въ толпѣ четырехсотъ здоровыхъ солдатъ и матросовъ пять больныхъ не бросаются въ глаза; ну, согнали васъ на пароходъ, смѣшали со здоровыми, наскоро сосчитали и въ суматохѣ ничего дурного не замѣтили, а когда пароходъ отошелъ, то и увидѣли: на палубѣ валяются параличные да чахоточные въ послѣднемъ градусѣ... Возмутительно... Главное, отлично вѣдь знаютъ, что вы не перенесете этого далекаго перехода, а все таки сажаютъ васъ сюда! Ну, положимъ, до Индѣйскаго Океана вы дойдете, а потомъ что? Страшно подумать.. И это благодарность за вѣрную безпорочную службу“.

Изъ разговора съ однимъ изъ больныхъ солдатъ безсрочно-отпускнымъ рядовымъ Гусевымъ Павелъ Ивановичъ узналъ, что онъ Гусевъ, служилъ въ денщикахъ.

— „Боже мой, Боже мой!—говоритъ Павелъ Ивановичъ и печально покачиваетъ головой.—Вырвать человѣка изъ родного гнѣзда, тащить пятнадцать тысячъ верстъ, потомъ вогнать въ чахотку и... и для чего все это, спрашивается? Для того, чтобъ слѣлать изъ него денщика для какого нибудь капитана Копѣйкина или мичмана Дырки. Какъ много логики!

— Дѣло не трудное, Павелъ Ивановичъ. Встанешь утромъ, сапоги почистишь, самоваръ поставишь, комнаты уберешь, а потомъ и дѣлать нечего. Поручикъ цѣлый день планты чертитъ, а ты—хочешь—Богу молись, хочешь—книжки читай, хочешь—на улицу ступай. Дай Богъ всякому такой жизни.

— Да, очень хорошо! Поручикъ планты чертитъ, а ты весь день на кухнѣ сидишь и по родинѣ тоскуешь... Планты... Не въ плантахъ дѣло, а въ жизни человѣческой! Жизнь не повторяется, шадить ее нужно.

— Оно конечно, Павелъ Ивановичъ, дурному человѣку нигдѣ пощады нѣтъ, ни дома, ни на службѣ, но ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать? Господа образованные, понимаютъ.. За пять лѣтъ я ни разу въ карцерѣ не сидѣлъ, а бить былъ, дай Богъ память, не больше одного раза...

— За что?

— За драку. У меня рука тяжелая, Павелъ Ивановичъ. Вошли къ намъ во дворъ четыре манзы; дрова носили, что ли—не помню. Ну, мнѣ скучно стало, я имъ того, бока помялъ, у одного проклятаго изъ носа кровь пошла... Поручикъ увидѣлъ въ окошко, осерчалъ и далъ мнѣ по уху.

— Глупый, жалкій ты человѣкъ... — шепчетъ Павелъ Ивановичъ. — Ничего ты не понимаешь“.

Павелъ Ивановичъ и солдатикъ—представители совершенно противоположныхъ возрѣній. Павелъ Ивановичъ—защитникъ идеи личности, онъ протестуетъ противъ всякаго униженія личности. Солдатикъ—человѣкъ, котораго человѣческое достоинство унижается, онъ терпѣливо сноситъ это, считая слѣпое подчиненіе господамъ—долгомъ, а съ другой стороны при первомъ удобномъ случаѣ охотно оскорбляетъ другого слабѣйшаго.

Эти мотивы: униженіе человѣческаго достоинства слабого, потеря чувства собственнаго достоинства унижаемымъ, оскорбленіе униженнымъ другого слабѣйшаго—слышатся во многихъ произведеніяхъ Чехова.

Унижается человѣческое достоинство крестьянъ, или „мужиковъ“, по терминологіи Чехова.

Въ русскомъ обществѣ, изображенномъ Чеховымъ, нѣтъ признанія человѣческаго достоинства за мужиками. Такое отношеніе къ мужикамъ ведетъ начало со временъ крѣпостнаго права и отчасти поддерживается дѣйствующимъ законодательствомъ, которое не считаетъ мужиковъ такими же субъектами правъ и обязанностей, какъ другіе граждане.

Вѣра Ивановна Кардина (разсказъ „Въ родномъ углу“) дѣлаетъ такую характеристику интеллигентнаго русскаго человѣка доктора Нещапова: „Вотъ про доктора Нещапова говорятъ дамы, что онъ добрый, устроилъ при заводѣ школу. Да, школу построилъ изъ стараго заводскаго камня, рублей за восемьсотъ и „многая лѣта“ пѣли ему на основаніи школы, а вотъ небось пая своего не отдастъ, и небось въ голову ему не приходитъ, что мужики такіе же люди, какъ онъ, и что ихъ тоже нужно учить въ университетахъ, а не только въ этихъ жалкихъ заводскихъ школахъ“.

Этотъ взглядъ доктора Нещапова—наслѣдіе эпохи крѣпостнаго права. Но отчасти взглядъ этотъ поддерживается современ-

нымъ законодательствомъ. Вѣдь для поступленія въ университетъ сыну крестьянина необходимо увольнительное отъ общества свидѣтельство. По мысли законодателя, человѣкъ, поступившій въ университетъ, не можетъ оставаться членомъ крестьянскаго общества, онъ выписывается изъ состава крестьянскаго общества и теряетъ право на надѣлъ. Очевидно, принадлежность къ крестьянскому сословію, къ мужикамъ, считается обстоятельствомъ, унижающимъ достоинство университетскаго человѣка. И наоборотъ, мужики считаются недостойными университетскаго образования: университеты для другихъ, для мужиковъ достаточно начальныхъ школъ, чтеній съ туманными картинами и т. п.

И во многихъ другихъ случаяхъ обнаруживается то же непризнаніе человѣческой личности въ мужикѣ

Егеръ Егоръ Власычъ говоритъ своей женѣ, что они „неволей вѣнчаны. Нешто забыла? Графа Сергѣя Павлыча благодарил... и себя. Графъ изъ зависти, что я лучше его стрѣляю, мѣсяць цѣлый виномъ меня спаивать, а пьянаго не только, что перевѣнчать, но и въ другую вѣру совратить можно. Взялъ и въ отместку пьянаго на тебѣ женилъ... Егеря на скотницѣ! Ты видала, что я пьяный, зачѣмъ выходила? не крѣпостная вѣдь, могла супротивъ пойти... Ну, вотъ теперь и мучайся, плачь. Графу смѣшки, а ты плачь... бейся объ стѣну“ (Егеръ).

Во времена крѣпостного права графъ-помѣщикъ могъ насильно женить своего крѣпостного егеря на крѣпостной скотницѣ. Крѣпостное право пало, но неуваженіе къ человѣческой личности бывшаго раба осталось у помѣщиковъ. Только крайнимъ неуваженіемъ къ человѣческой личности крестьянина можно объяснить эту дикую выходку графа.

Сынъ генеральши Иванъ Чепраковъ (въ рассказѣ „Моя жизнь“) служить кондукторомъ на желѣзной дорогѣ. „Жизнь у меня теперь подлѣйшая, говоритъ онъ Полозневу. Главное, всякій прапорщикъ можетъ кричать: „ты, кондукторъ! ты“!

Чепраковъ, сынъ генеральши, которая когда то владѣла крѣпостными крестьянами, считаетъ оскорбительнымъ для себя, когда ему говорятъ—ты. Но никому въ голову не приходитъ считать оскорбительнымъ, когда мужику говорятъ—ты. „Самый мелкій чиновникъ, читаемъ въ рассказѣ „Мужики“, или приказчикъ

обходится съ мужиками, какъ съ бродягами, и даже старшинами, и церковнымъ старостамъ говорить—ты, и думаетъ, что нѣтъ на это право“.

По словамъ студента Трофимова въ пьесѣ „Вишневый садъ“, „интеллигенція обходится съ мужиками какъ съ животными“.

Рѣзкимъ выраженіемъ неуваженія къ человѣческому достоинству мужика являются тѣлесныя наказанія. Почти за сто лѣтъ до паденія крѣпостного права тѣлесное наказаніе отиѣнено для благороднаго дворянства. „Тѣлесное наказаніе да не коснется благороднаго“,—читаемъ въ жалованной грамотѣ дворянству. Это изъятіе отъ позорящихъ человѣческое достоинство тѣлесныхъ наказаній постепенно распространялось на другіе классы русскаго общества, распространялось, въ видѣ исключенія, и на нѣкоторые разряды мужиковъ. Но, по общему правилу, до нашихъ дней мужиковъ подвергали тѣлесному наказанію.

Жена желѣзнодорожнаго стрѣлочника Агафья приходила, въ отсутствіе мужа, къ огороднику Савкѣ и провела у него ночь. Когда Агафья ушла, Савка сказалъ: „—Идетъ и хвостъ поджала.. Шкодливы эти бабы,—какъ кошки, трусливы,—какъ зайцы... Не ушла, дура, вчера, когда говорили ей! Теперь ей достанется, да и меня въ волости... опять за бабъ драть будутъ“ (Агафья).

Мужикъ Савка совершенно равнодушно говоритъ объ угрожающемъ ему тѣлесномъ наказаніи, считая, очевидно, это—нормальнымъ порядкомъ.

Но не всѣ мужики считаютъ тѣлесное наказаніе нормальнымъ порядкомъ. Протестъ противъ розги замѣтенъ и среди мужиковъ. Въ рассказѣ „Мужики“ Ольга, покидая Жуково, „вспомнила, какой жалкій, приниженный видъ былъ у стариковъ, когда зимой водили Кирьяка наказывать розгами“.

Въ мужикѣ не признается человѣческое достоинство. Мужикъ низшее существо, а со стороны высшихъ, со стороны тѣхъ, кто богаче и сильнѣе, помощи нѣтъ. „Да и можетъ ли быть какая нибудь помощь или добрый примѣръ, говоритъ Чеховъ въ рассказѣ „Мужики“, отъ людей корыстолюбивыхъ, жадныхъ, развратныхъ, лѣнивыхъ, которые наѣзжаютъ въ деревню только затѣмъ, чтобы оскорбить, обобрать, напугать“.

Неуваженіе къ человѣческому достоинству мужика такъ велико, что всякій, кто пріѣзжаетъ въ деревню, считаетъ возможнымъ, „оскорбить, обобратъ, напугать“ и во всякомъ случаѣ считаетъ необходимымъ свысока относиться къ мужику. Таковъ, на примѣръ, новоиспеченный помѣщикъ Николай Ивановичъ въ рассказѣ „Крыжовникъ“.

„Николай Ивановичъ, который когда-то въ казенной палатѣ боялся даже для себя лично имѣть собственные взгляды, теперь говорилъ только одни истины, и такимъ тономъ, точно министръ. „Образованіе необходимо, но для народа оно преждевременно,“ „тѣлесныя наказанія вообще вредны, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ они полезны и необходимы“.

— Я знаю народъ и умѣю съ нимъ обращаться,—говорилъ онъ.—Меня народъ любитъ. Стоитъ мнѣ только пальцемъ шевельнуть, и для меня народъ сдѣлаетъ все, что захочу.

И все это, замѣтите, говорилось съ умной, доброю улыбкой. Онъ разъ двадцать повторилъ: „мы дворяне“, „я, какъ дворянинъ“...

Если свысока относится къ мужику новоиспеченный помѣщикъ, бывший мелкій чиновникъ казенной палаты, Николай Ивановичъ, то, повидимому, больше основаній свысока относиться къ мужику у стариннаго помѣщика Гаева. И дѣйствительно, этотъ „недотепа“, тоже твердитъ: „Не даромъ меня мужикъ любитъ. Мужика надо знать! Надо знать...“

Дворяне полагаютъ, что они знаютъ мужика, и что мужикъ ихъ любитъ. А такъ какъ мужикъ нуждается въ опекѣ, то естественнымъ опекуномъ долженъ быть дворянинъ. Въ обществѣ, въ которомъ существуютъ подобные взгляды, и долженъ былъ появиться такой законъ, какъ „Положеніе о земскихъ начальникахъ“, законъ, отдавшій мужика въ опеку дворянину.

Но не одни земскіе начальники являются опекунами мужиковъ. Опекуномъ является „міръ“, опекунами являются органы сельской и волостной администраціи.

„Міру“ принадлежит дисциплинарная власть надъ мужиками. Какъ осуществляетъ міръ эту дисциплинарную власть и къ какимъ стѣсненіямъ личной свободы мужика приводитъ эта дисциплинарная власть видно изъ рассказовъ „Воры“ и „Въ ссылкѣ“.

„Мірѣ“ составилъ приговоръ о томъ, чтобы сослать въ Сибирь Калашникова, безсердечнаго вора, обирающаго бѣдняковъ; но отецъ и дядя Калашникова, тоже воры, откупились и приговоръ не былъ приведенъ въ исполненіе. Въ разсказѣ „Въ ссылкѣ“ татаринъ „заплакалъ и сталъ увѣрять, что онъ ни въ чемъ не виноватъ и терпитъ напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совѣсти и составило приговоръ, по которому пошли въ Сибирь всѣ три брата, а дядя, богатый человѣкъ, остался дома“.

Дисциплинарная власть надъ мужиками принадлежитъ органамъ сельской и волостной администраціи. Какъ осуществляется эта власть видно изъ сдѣланной въ разсказѣ „Въ оврагѣ“ характеристики волостнаго писаря и волостнаго старшины, которые за время своей службы „не подписали ни одной бумаги и не отпустили изъ волостнаго правленія ни одного человѣка безъ того, чтобы не обмануть и не обидѣть“. Въ разсказѣ „Мужики“ сдѣлана характеристика сельскаго старосты, тоже надѣленнаго дисциплинарною властью. „Староста Антипъ Сѣдельниковъ, не смотря на молодость,—ему было только 30 лѣтъ съ небольшимъ, былъ строгъ и всегда держалъ сторону начальства, хотя самъ былъ бѣденъ и платилъ подати неисправно. Видно, его забавляло, что онъ староста, и нравилось сознаніе власти, которую онъ иначе не умѣлъ проявлять, какъ строгостью. На сходѣ его боялись и слушались; случалось, на улицѣ или около трактира онъ вдругъ налеталъ на пьянаго, связывалъ ему руки назадъ и сажалъ въ арестантскую; разъ даже посадилъ въ арестантскую бабу за то, что она, придя на сходъ вмѣсто Осипа, стала браниться, и продержалъ ее тамъ цѣлые сутки“.

Остальные классы русскаго общества не представляютъ изъ себя однообразной массы: нѣтъ людей, обладающихъ равнымъ человѣческимъ достоинствомъ,—есть сильные и слабые; сильные не признаютъ человѣческаго достоинства въ слабымъ.

Къ слабымъ относятся рабочіе люди. Весьма рѣзкими чертами изображено погрѣшеніе человѣческаго достоинства рабочаго человѣка въ разсказѣ „Моя жизнь“. Полозневъ, отъ имени котораго ведется разсказъ, говоритъ:

„Быть можетъ, отъ того, что, ставши рабочимъ. я уже видѣлъ нашу городскую жизнь только съ ея изнанки, почти каждый день приходилось дѣлать открытія, приводившія меня просто въ отчаяніе. Тѣ мои сограждане, о которыхъ раньше я не былъ никакого мнѣнія, или которые съ внѣшней стороны представлялись вполне порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Намъ, простыхъ людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по цѣлымъ часамъ дожидаться въ холодныхъ сѣняхъ или въ кухнѣ, насъ оскорбляли и обращались съ нами крайне грубо... Въ лавкахъ намъ, рабочимъ, сбывали тухлое мясо, гнилую муку и спитой чай; въ церкви насъ толкала полиція, въ больницахъ насъ обижали фельдшера и сидѣлки, и, если мы по бѣдности не давали имъ взятковъ, то насъ въ отместку кормили изъ грязной посуды; на почтѣ самый маленький чиновникъ считалъ себя въ правѣ обращаться съ нами, какъ съ животными, и кричать грубо и нагло: „Обожди! куда лѣзешь?“ Даже дворовыя собаки—и тѣ относились къ намъ недружелюбно и бросались на насъ съ какою то особенною злобой. Но главное, что больше всего поражало меня въ моемъ новомъ положеніи, это совершенное отсутствіе справедливости, именно то самое, что у народа отпредѣляется словами: „Бога забыли“. Рѣдкій день обходился безъ мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшіе намъ олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики. Само собою, ни о какихъ нашихъ правахъ не могло быть и рѣчи, и свои заработанныя деньги мы должны были всякій разъ выпрашивать, какъ милостыню, стоя у чернаго крыльца безъ шапокъ“.

Въ разсказѣ „Сапожникъ и нечистая сила“ изображается оскорбленіе заказчикомъ человѣческаго достоинства ремесленника.

Сапожникъ Ѳедоръ увидѣлъ во снѣ то, что бываетъ на яву, въ дѣйствительной жизни. Приснилось Ѳедору, что онъ сдѣлался богатымъ человѣкомъ. Послѣ сытнаго обѣда, „чтобы развлечь себя, онъ сталъ осматривать сапогъ на своей лѣвой ногѣ.

— Какой это сапожникъ шил?—спросилъ онъ.

— Кузьма Лебедкинъ,—отвѣтилъ лакей.

— Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедкинъ изъ Варшавы. Онъ остановился въ почтительной позѣ у двери и спросилъ:

— Что прикажете, ваше высокоблагородіе?

— Молчать! — крикнулъ Федоръ и толкнулъ ногой. — Не смѣй разсуждать и помни свое сапожничье званіе, какой ты члвкъ есть! Болванъ! Ты не умѣешь сапоговъ шить! Я тебѣ въ харю побью! Ты зачѣмъ пришелъ?

— За деньгами-ст.

— Какія тебѣ деньги? Вонъ! Въ субботу приходи! Чего-то дай ему въ шею!

Но тотчасъ же онъ вспомнилъ, какъ надъ нимъ саміе кудрилы заказчики, и у него стало тяжело на душѣ.

Все это сапожникъ видѣлъ во снѣ, а когда проснулся, около него стоялъ заказчикъ и кричалъ:

— „Дуракъ! Болванъ! Оселъ! Я тебя проучу, мошенникъ! Взялъ заказъ двѣ недѣли тому назадъ, а сапоги до сихъ поръ не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шлаться къ тебѣ сапогами по пяти разъ въ день? Мерзавецъ! Скотина!“

Подвергаясь оскорбленіямъ со стороны заказчиковъ, которые стоятъ выше ихъ, ремесленники-хозяева сами унижаютъ члвческое достоинство тѣхъ, кто стоитъ ниже ихъ и зависитъ отъ нихъ. Таковы ремесленные ученики.

Ванька Жуковъ, девятилѣтній мальчикъ, отданный три года на тому назадъ въ ученіе къ сапожнику Аляхину, пишетъ письмо своему дѣдушкѣ въ деревню:

„А вчера мнѣ была выволочка. Хозяинъ выволокъ меня за волосы на дворъ и отчесалъ шпандыремъ за то, что я качалъ ихняго ребятенка въ люлькѣ и по нечаянности заснулъ. А на недѣлѣ хозяйка велѣла мнѣ почистить селедку, а я началъ съ хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня въ харю тыкать. Подмастерья надо мной насмѣхаются, посылаютъ въ кабакъ за водкой и велятъ красть у хозяевъ огурцы, а хозяинъ бьетъ чѣмъ попадя. А ѣды нѣту никакой. Утромъ даютъ хлѣба, въ обѣдъ каши и къ вечеру тоже хлѣба, а чтобъ чаю или щей, то хозяева сами трескаютъ. А спать мнѣ велятъ въ сѣняхъ, а когда ребяенокъ ихній плачетъ, я вовсе не сплю, а качаю люльку... Меня всѣ колотятъ и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А наемдни хозяинъ колод-

ой по головѣ ударилъ, такъ что упалъ и насилу очухался. Прощая моя жизнь, хуже собаки всякой“... (Ванька).

Подобно ремесленникамъ-хозяевамъ, и купцы-хозяева тоже признаютъ человѣческаго достоинства въ подчиненныхъ имъ лъчикахъ и приказчикахъ. Отношенія купцовъ-хозяевъ къ лъчикамъ и приказчикамъ изображены Чеховымъ въ рассказѣ „три года“.

„Для такой торговли, какъ ваша, говоритъ Лаптевъ своему брату, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготавливаете себѣ такихъ, заставляя ихъ съ дѣтства кланяться вамъ въ ноги за кусокъ хлѣба, и съ дѣтства приучаете ихъ къ мысли, что вы — ихъ благодѣтели“.... Лаптевъ „никакъ не могъ забыть, какъ лѣтъ пятнадцать назадъ одинъ приказчикъ, болѣвшій психически, выбѣжалъ на улицу въ одномъ нижнемъ рубашкѣ, босой и, грозя на хозяйскія окна кулакомъ, кричалъ, что его замучили; и надъ бѣднягой, когда онъ потомъ выздоровѣлъ, долго смѣялись и припоминали ему, какъ онъ кричалъ на хозяевъ: „плантаторы!“ — вмѣсто „эксплуататоры“. Вообще, служащимъ жилось у Лаптевыхъ очень плохо и объ этомъ давно уже говорили всѣ ряды. Хуже всего было то, что по отношенію къ нимъ баринъ Федоръ Степанычъ держался какой то азіатской политики... Ничто не запрещалось приказчикамъ прямо, и потому они знали, что дозволяется и что — нѣтъ. Имъ не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своей женитьбой барину и потерять мѣсто. Имъ позволялось имѣть знакомыхъ и брать въ гости, но въ девять часовъ вечера уже запирались ворота и каждое утро хозяинъ подозрительно оглядывалъ всѣхъ входящихъ и испытывалъ, не пахнетъ ли отъ кого водкой: „А какъ дыхни!“ Каждый праздникъ служащіе обязаны были ходить къ ранней обѣднѣ и становиться въ церкви такъ, чтобы ихъ всѣхъ видѣлъ хозяинъ. Посты строго соблюдались. Въ торжественные дни, на примѣръ, въ именины хозяина или членовъ его семьи, приказчики должны были по подпискѣ подносить сладкій пирогъ отъ Флея или альбомъ. Жили они въ нижнемъ этажѣ дома на Пятницкой и во флигелѣ, помѣщаясь по трое и твердо въ одной комнатѣ, и за обѣдомъ ѣли изъ общей миски. Передъ каждымъ изъ нихъ стояла тарелка. Если кто изъ

хозяевъ входилъ къ нимъ во время обѣда, то всѣ они вставали“.

И вездѣ въ другихъ случаяхъ въ основѣ отношеній хозяина къ служащему лежитъ непризнаніе въ служащемъ человѣческаго достоинства.

Въ одномъ изъ раннихъ разсказовъ Чехова „На чужбинѣ“ помѣщикъ Камышловъ издѣвается надъ французомъ — гувернеромъ.

Въ разсказѣ „Моя жизнь“ инженеръ Должиковъ „всѣхъ простыхъ людей называлъ почему-то Пантелѣями... вообще къ мелкимъ служащимъ онъ былъ жестокъ и штрафовалъ и гонялъ ихъ со службы холодно, безъ объясненій“

Регентъ соборной церкви Градусовъ, въ разсказѣ „Изъ огня да въ полымя“, оскорбляетъ своего бывшего пѣвчаго и сохраняетъ твердое убѣжденіе, что онъ имѣетъ право такъ поступать.

Докторъ говоритъ княгинѣ (разсказъ „Княгиня“): „А какъ вы обращаетесь со своими служащими! Вы ихъ и за людей не считаете и третируете, какъ послѣднихъ мошенниковъ. Напримѣръ, позвольте васъ спросить, за что вы меня уволили? Служилъ десять лѣтъ вашему отцу, потомъ вамъ, честно, не зная ни праздниковъ, ни отпусковъ, заслужилъ любовь всѣхъ на сто верстъ кругомъ, и вдругъ въ одинъ прекрасный день мнѣ объявляютъ, что я уже болѣе не служу! За что? До сихъ поръ не понимаю! Я докторъ медицины, дворянинъ, студентъ московскаго университета, отецъ семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать въ шею безъ объясненія причинъ! Зачѣмъ со мной церемониться?“

Въ области государственной службы начальники не признаютъ человѣческаго достоинства въ подчиненныхъ чиновникахъ.

Въ разсказѣ „Торжество побѣдителя“ стставной коллежскій регистраторъ рассказываетъ о томъ, какъ онъ и его сослуживцы чиновники въ пятницу на масляной всѣ отправились ѣсть блины къ своему начальнику Алексѣю Ивановичу Козулину. Въ числѣ приглашенныхъ былъ маленькій сгорбленный старичокъ Курицынъ, тоже подчиненный Козулина. Послѣ обѣда, во время бесѣды, Козулинъ рассказывалъ о прошломъ, о томъ, между прочимъ, какъ много онъ претерпѣлъ и поношеній вынесъ отъ Курицына, подъ начальствомъ котораго началъ службу.

„Курицынъ“!! закричалъ онъ.

— „Чего извольте-ст?—спросилъ Курицынъ, вставая и вытягиваясь въ струнку.

— Трагедію представь!

— Слушаю!

Курицынъ вытянулся, нахмурился, поднялъ вверхъ руку, скорчилъ рожу и пропѣлъ сиплымъ, дребезжащимъ голосомъ:

— Умри, вѣроломная! Крови жажду!!

Мы покатались со смѣху.

— Курицынъ! Съѣшь этотъ самый кусокъ хлѣба съ перчикомъ!

Сытый Курицынъ взялъ большой кусокъ ржанаго хлѣба, посыпалъ его перцемъ и сжевалъ при громкомъ смѣхѣ.

— Всякія перемены бываютъ, продолжалъ Козулинъ.— Сядь, Курицынъ! Когда встанешь, пропоешь что-нибудь... Тогда ты, а теперь я... Да... А ну-ка ты! ты! Тебѣ говорятъ, безусый!

И Козулинъ ткнулъ пальцемъ всторону папаши.— Бѣгай вокругъ стола и пой пѣтушкомъ!

Папаша мой улыбнулся, пріятно покраснѣлъ и засѣменилъ вокругъ стола. Я за нимъ.

— Ку-ку-реку!—заголосили мы оба и побѣжали быстро.

Подобно мелкимъ чиновникамъ, люди средніе, вообще, подвергаются постояннымъ униженіямъ и оскорбленіямъ со стороны тѣхъ, которые стоятъ выше ихъ.

Мировой судья (въ разсказѣ „Непріятность“) говоритъ о среднемъ человѣкѣ: „мы его гонимъ, бранимъ, бьемъ по физиономіи.“

Купецъ Ѳеодоръ Лаптевъ (разсказъ „Три года“), „когда къ нему приходитъ за жалованіемъ учитель изъ школы, гдѣ старикъ Лаптевъ попечителемъ, даже мѣняетъ голосъ и походку и держится съ учителемъ какъ начальникъ.“

Директоръ завода Назарычъ („Бабье царство“) ненавидѣлъ и презиралъ заводскаго учителя. „Онъ обращался съ нимъ высокомерно и грубо, задерживалъ жалованье и вмѣшивался въ преподаваніе и, чтобы окончательно выжить его, недѣли за двѣ до праздника опредѣлилъ въ школу сторожемъ дальняго родственника своей жены, пьянаго мужика, который не слушался учителя и при ученикахъ говорилъ ему дерзости“ (Бабье царство).

Въ одномъ изъ послѣднихъ разсказовъ — „Архіерей“, указывается на неуваженіе къ человѣческому достоинству низшаго духовенства со стороны духовнаго начальства: „Благочинные во всей епархіи ставили священникамъ, молодымъ и старымъ, даже ихъ женамъ и дѣтямъ, отмѣтки по поведенію, пятерки и четверки, а иногда и тройки.“

Весьма рѣзкими чертами выражается непризнаніе человѣческаго достоинства въ прислугѣ.

Довольно подробно останавливается Чеховъ на вопросѣ о положеніи прислуги, въ „Разсказѣ неизвѣстнаго человѣка.“ Разсказъ ведется отъ имени интеллигентнаго человѣка, бывшаго морского офицера, который, вслѣдствіе нѣкоторыхъ причинъ, поступилъ въ лакеи къ одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову. Приведу изъ этого разсказа нѣкоторыя мѣста, характеризующія положеніе прислуги и отношеніе къ прислугѣ господъ.

„Когда я съ вычищеннымъ платьемъ и сапогами приходилъ въ спальню, Георгій Ивановичъ (Орловъ) неподвижно сидѣлъ въ постели, не заспанный, а скорѣе утомленный сномъ, и глядѣлъ въ одну точку, не выказывая по поводу своего пробужденія никакого удовольствія. Я помогаль ему одѣваться, а онъ неохотно подчинялся мнѣ, молча и не замѣчая моего присутствія, потомъ смокрою отъ умыванья головой и пахнущій свѣжими духами, онъ шелъ въ столовую пить кофе. Онъ сидѣлъ за столомъ, пилъ кофе и перелистывалъ газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрѣли на него. Два взрослыхъ человѣка должны были съ самымъ серьезнымъ вниманіемъ смотрѣть, какъ третій пьетъ кофе и грызетъ сухарики. Это, по всей вѣроятности, смѣшно и дико...“

Обыкновенно онъ (Орловъ) не замѣчалъ моего присутствія и когда говорилъ со мною, то на лицѣ у него не было обыкновеннаго ироническаго выраженія, — очевидно, не считалъ меня человекомъ.

По четвергамъ у насъ бывали гости... Гости обыкновенно сходились къ десяти часамъ. Они играли въ кабинетѣ Орлова въ карты, а я и Поля подавали имъ чай. Тутъ только я могъ, какъ слѣдуетъ, постигнуть всю сладость лакейства. Стоялъ

родолженіе четырехъ-пяти часовъ около двери, слѣдить за , чтобы не было пустыхъ стакановъ, перемѣнять пепельницы, бѣгать къ столу, чтобы поднять оброненный мелокъ или у, а, главное, стоять, ждать, быть внимательнымъ и не смѣть оворить, ни кашлять, ни улыбаться, это, увѣряю васъ, тяже всякаго тяжелаго крестьянскаго труда. Я когда-то стаивалъ ахтѣ по четыре часа въ бурныя зимнія ночи и нахожу, что а несравненно легче“.

арыня Зинаида Оедоровна „относилась ко мнѣ, какъ къ ла-существу низшему. Можно гладить собаку и въ то же время амѣчать ея; мнѣ приказывали, задавали вопросы, но не замѣ-моего присутствія. Хозяева считали неприличнымъ говорить ною больше, чѣмъ это принято; еслибъ я, прислуживая за омъ, вмѣшался въ разговоръ или засмѣялся, то меня навѣр-зочли бы сумасшедшимъ и дали бы мнѣ расчетъ.“

устанавливается Чеховъ на вопросѣ о положеніи прислуги е въ рассказѣ „Въ родномъ углу“, въ пьесѣ „Три сестры“ другихъ произведенійхъ.

тъ имѣнии Вѣры Ивановны Кардиной, которымъ управляла гетя (рассказъ „Въ родномъ углу“), „никакого сельскаго іства не было; пахали и сѣяли немного, только по при-ѣ, и въ сущности ничего не дѣлали, жили праздно. цу тѣмъ, весь день ходили, считали, хлопотали; бѣготня цомѣ начиналась съ пяти часовъ утра и постоянно слы-сь „подай“, „принеси“, „сбѣгай“, и прислуга обыкновенно вечеру уже выбивалась изъ силъ. У тети каждую недѣлю лись кухарки и горничныя; то она рассчитывала ихъ за авственность, то онѣ сами уходили, говоря, что замучи-

Изъ своихъ деревенскихъ никто не шелъ служить и одилось нанимать дальнихъ. Изъ своихъ жила только дѣ-а Алена и не уходила потому, что на ея жалованье кор-зь дома вся семья—старухи и дѣти. Эта Алена, маленькая, ная, глуповатая, весь день убирала комнаты, служила за омъ, топила печи, шила, стирала, но все казалось, что она сея, стучить сапогами и только мѣшаетъ въ домѣ; изъ страха, бы ее не рассчитали и не услали домой, она роняла и часто посуду, и у нея вычитали изъ жалованья, а потомъ ея

мать и бабушка приходили и кланялись тетѣ Дашѣ въ ноги.“
„Цѣлый день тетя въ саду варила вишневое варенье. Алена съ красными отъ жара щеками бѣгала то въ садъ, то въ домъ, то на погребъ. Когда тетя варила варенье, съ очень серьезнымъ лицомъ, точно священнодѣйствовала, и короткія рукава позволяли видѣть ея маленькія, крѣпкія, деспотическія руки, и, когда, не переставая, бѣгала прислуга, хлопоча около этого варенья, которое будетъ ѣсть не она, то всякій разъ чувствовалось мучительство“.

Въ „Трехъ сестрахъ“ одна сцена прекрасно рисуетъ отношеніе барыни къ прислугѣ. Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ этой пьесы есть Анфиса, нянька, старуха 80 лѣтъ. Анфиса была въ комнатѣ Ольги, когда туда вошла Наташа.

Наташа подходитъ къ зеркалу и говоритъ: Я должно быть растрепанная. Говорятъ, я пополнѣла... и не правда! Ничуть... (Анфисѣ холодно). При мнѣ не смѣй сидѣть! Встань! Ступай отсюда! (Анфиса уходитъ; пауза). И зачѣмъ ты держишь эту старуху не понимаю!

Ольга (оторопѣвъ). — Извини, я тоже не понимаю...

Наташа. — Ни къ чему она тутъ. Она крестьянка, должна въ деревнѣ жить... Что за баловство! Я люблю въ домѣ порядокъ! Лишнихъ не должно быть въ домѣ (гладитъ ее по щекѣ и заводитъ разговоръ на другую тему. Черезъ нѣкоторое время Ольга начинаетъ снова говорить объ Анфисѣ).

Ольга (пьетъ воду). Ты сейчасъ такъ грубо обошлась съ няней... Прости, я не въ состояніи переносить... въ глазахъ потемнѣло...

Наташа (взволнованно). Прости Оля, прости, я не хотѣла тебя огорчать.

Ольга. — Прости, милая, мы воспитаны, быть можетъ, странно, но я не переношу этого. Подобное отношеніе угнетаетъ меня, я заболѣваю... я просто падаю духомъ..

Наташа. — Прости, прости... (цѣлуетъ ее).

Ольга. — Всякая, даже малѣйшая грубость, неделикатно сказанное слово волнуетъ меня.

Наташа. — Я часто говорю лишнее, это правда, но согласишься, моя милая, она могла бы жить въ деревнѣ.

Оля.—Она уже тридцать лѣтъ у насъ.

Наташа.—Но вѣдь теперь она не можетъ работать! Или я не понимаю, или ты не хочешь меня понять. Она не способна къ труду, она только спитъ или сидитъ.

Оля.—И пускай сидитъ.

Наташа (удивленно).—Какъ пускай сидитъ? Но вѣдь она же прислуга (сквозь слезы). Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у насъ горничная, кухарка... для чего же намъ вотъ эта старуха?—Для чего? ...Намъ нужно уговориться, Оля. Ты въ гимназіи, я—дома. у тебя ученіе, у меня хозяйство. И если я говорю что насчетъ прислуги, то знаю, что говорю; я знаю, что го-во-рю... И чтобъ завтра же не было здѣсь этой старой воровки, старой хрычевки... (стучить ногами) этой вѣдьмы!.. Не смѣть меня раздражать! Не смѣть“!

Другая сцена рисуетъ то же барское отношеніе Наташи къ прислугѣ.

Дѣйствіе происходитъ въ саду. Наташа говоритъ:

„Тутъ вездѣ я велю понасажать цвѣточковъ, цвѣточковъ, и будетъ запахъ... (строго) Зачѣмъ здѣсь на скамьѣ валяется вилка? (проходя въ домъ, горничной) Зачѣмъ здѣсь на скамьѣ валяется вилка, я спрашиваю? (кричить) Молчать“!

Почмейстеръ Михаилъ Аверьянычъ (разсказъ „Палата № 6“), который когда то былъ богатымъ помѣщикомъ и служилъ въ кавалеріи, „изъ всего барскаго, которое у него когда то было, промоталъ все хорошее и оставилъ себѣ одно только дурное. Онъ любилъ, чтобъ ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали передъ нимъ на столѣ, и онъ ихъ видѣлъ, но кричалъ человѣку, чтобы тотъ подалъ ему спички; при горничной онъ не стѣснялся ходить въ одномъ нижнемъ бѣльѣ; лакеямъ всѣмъ безъ разбора. даже старикамъ, говорилъ ты и, осердившись, звалъ ихъ болванами и дураками“.

Докторъ Старцевъ (разсказъ „Юнычъ“) провелъ вечеръ въ семьѣ Туркиныхъ, которая считалась самой образованной и талантливой семьей въ губернскомъ городѣ С. „Когда гости, сытые и довольные, толпились въ передней, разбирая свои пальто и трости, около нихъ суетился лакей Павлуша, или, какъ его

звали здѣсь, Пава, мальчикъ лѣтъ четырнадцати, стриженный, съ полными щеками.

— А ну ка, Пава, изобрази!—сказалъ ему Иванъ Петровичъ (Туркинъ).

Пава сталъ въ позу, поднялъ вверхъ руку и проговорилъ трагическимъ тономъ:

— Уми, несчастная!

И всѣ захохотали“...

Прошло четыре года. Докторъ Старцевъ снова былъ у Туркиныхъ. Когда Старцевъ уходилъ домой, Иванъ Петровичъ провожалъ его. „А ну ка изобрази!“—сказалъ онъ обращаясь въ передней къ Павѣ.

Пава, уже не мальчикъ, а молодой человѣкъ съ усами, сталъ въ позу, поднялъ вверхъ руку и сказалъ трагическимъ голосомъ: Уми, несчастная“!

Вопроса объ отношеніяхъ между господами и прислугой касается Чеховъ и въ наиболѣе раннихъ своихъ произведеніяхъ. Такъ, въ разсказѣ „Упразднили“ разсказывается о томъ, что прапорщикъ Вывертовъ заѣхалъ къ своему сосѣду маіору Ижицѣ и „когда его бричка въѣзжала въ маіорскій дворъ, онъ увидѣлъ картину. Ижица въ халатѣ и турецкой фескѣ стоялъ посреди двора, сердито топалъ ногами и размахивалъ руками. Мимо него взадъ и впередъ кучеръ Филька водилъ хромавшую лошадь.—Негодяй!—кипятился маіоръ.—Мошенникъ! Каналья! Повѣситъ тебя мало, анафему! Афганецъ! Ахъ, мое вамъ почтеніе!—сказалъ онъ, увидѣвъ Вывертова.—Очень радъ васъ видѣть. Какъ вамъ это понравится? Недѣля ужъ, какъ ссадилъ лошади ногу, и молчитъ, мошенникъ! Ни слова! Не догляди я самъ, пропало бы къ чорту копыто! А? Каковъ народецъ? И его не бить по мордѣ? Не бить? Не бить, я васъ спрашиваю?“

Того же вопроса объ отношеніи господъ къ прислугѣ касается Чеховъ и въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ.

Въ разсказѣ „Невѣста“ Саша говоритъ Надѣ: „Ваша мама, по моему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... какъ вамъ сказать? Сегодня утромъ рано зашелъ я къ вамъ въ кухню, а тамъ четыре прислуги спятъ прямо на полу, кроватей нѣтъ, вмѣсто постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое,

было двадцать лѣтъ назадъ, ни какой перемѣны. Ну, бабушка Богъ съ ней, на то она и бабушка; а вѣдь мама, небось, по-анцузски говоритъ, въ спектакляхъ участвуетъ. Можно бы, кажется, понимать“.

Наконецъ, въ послѣднемъ предсмертномъ произведеніи Чехова въ пьесѣ „Вишневый садъ“, студентъ Трофимовъ говоритъ о русской интеллигенціи: „называютъ себя интеллигенціей, а пригдъ говорятъ ты“.

Нѣтъ уваженія къ человѣческому достоинству въ сферѣ семейныхъ отношеній.

Въ исторіи семейныхъ отношеній замѣчается одна черта: постепенное возвышеніе правъ женщинъ и дѣтей.

Право женщины постепенно возвышается, власть мужа и теряетъ свой строгій характеръ, и признаніе равной правоспособности за мужчиной и женщиной является идеаломъ права области супружескихъ отношеній. Этотъ идеалъ еще не достигнутъ русскимъ обществомъ

Въ русскомъ обществѣ, изображенномъ въ сочиненіяхъ Чехова, человѣческое достоинство женщины унижается. Въ такомъ обществѣ не можетъ быть и рѣчи о признаніи за женщиной полной правоспособности съ мужчиной.

Въ ссылкѣ, по свидѣтельству Чехова, женщина приравнивается къ домашнему животному. Къ домашнему животному приравнивается женщина и въ средѣ мужиковъ. Здѣсь женщина терпиво подвергается побоямъ и разнымъ издѣвательствамъ со стороны мужа.

Въ разсказѣ „Мужики“ есть такая сцена, рисующая положеніе женщины въ деревнѣ:

„Въ домѣ были гости и по этому случаю поставили самоваръ. Не успѣли выпить и по чашкѣ, какъ со двора донесся громъ протяжный пьяный крикъ:

— Ма-арья!

Все притихли. И немного погодя, опять тотъ же крикъ, грубый и протяжный, точно изъ подъ земли:

— Ма-арья!

Марья поблѣднѣла, прижалась къ печи, и какъ то странно о видѣть на лицѣ у этой широкоплечей, сильной, некраси-

вой женщины выражение испуга. Ея дочь, та самая дѣвочка, которая сидѣла на печи и казалась равнодушною, вдругъ громко заплакала.

— Ма-арья! — раздался крикъ у самой двери.

— Вступитесь Христа-ради, родименькіе, — залепетала Марья, дыша такъ, точно ее опускали въ очень холодную воду, — вступитесь родименькіе...

Заплакали всѣ дѣти, сколько ихъ было въ избѣ... Послышался пьяный кашель, и въ избу вошелъ высокій, чернобородый мужикъ въ зимней шапкѣ и оттого, что при тускломъ свѣтѣ лампочки не было видно его лица, — страшный... Это былъ Кирьякъ. Подойдя къ женѣ, онъ размахнулся и ударилъ ее кулакомъ по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударомъ, и только присѣла, и тотчасъ же изъ носа у нея пошла кровь.

— Экой срамъ-то, срамъ, — бормоталъ старикъ, полѣзая на печь, — при гостяхъ то! Грѣхъ какой! .

А старуха сидѣла молча, сгорбившись, и о чемъ то думала; Оскла качала люльку... Видимо сознавая себя страшнымъ и довольный этимъ, Кирьякъ схватилъ Марью за руку, потащилъ ее къ двери и зарычалъ звѣремъ, чтобы казаться еще страшнѣе, но въ это время вдругъ увидѣлъ гостей и остановился“.

Въ другомъ мѣстѣ того же рассказа читаемъ: „На Покровъ въ Жуковѣ былъ приходскій праздникъ, и мужики по этому случаю пили три дня... Кирьякъ всѣ три дня былъ страшно пьянъ, пропилъ все, даже шапку и сапоги, и такъ билъ Марью, что ее отливали водой“.

И въ другихъ произведеніяхъ Чехова изображается то же униженіе человѣческаго достоинства женщины въ крестьянской средѣ.

Софью (рассказъ „Бабы“) мужъ прогналъ съ завода къ отцу, а себѣ другую завелъ; она работаетъ какъ лошадь и добраго слова не слышитъ.

Токарь Григорій Петровъ жилъ съ женою сорокъ лѣтъ, „и эти сорокъ лѣтъ прошли, словно въ туманѣ. За пьянствомъ, драками и нуждой не чувствовалась жизнь (Горе).“

Харламовъ (Въ судѣ) жилъ, по показаніямъ свидѣтелей, „своей старухой хорошо, какъ всѣ: билъ ее только тогда, когда напивался“.

Гробовщикъ Яковъ Ивановъ пятьдесятъ два года прожилъ съ своей женой Марфой, „но какъ то такъ вышло. что за все это время онъ ни разу не подумалъ о ней, не обратилъ вниманія, какъ будто она была кошка или собака“ (Скрипка Ротшильда).

Униженіе человѣческаго достоинства женщины замѣчается и въ среднемъ классѣ русскаго общества. Слѣдующія слова оберъ-кондуктора Стычкина въ рассказѣ „Хорошій конецъ“ характеризуютъ обыкновенныя супружескія отношенія въ среднемъ классѣ: „желая, чтобы жена понимала, что я для нея благодѣтель и первый человѣкъ... чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливилъ“.

Сынъ купца Лаптевъ говоритъ о своихъ родителяхъ: „отецъ женился на моей матери, когда ему было 45 лѣтъ, а ей только 17. Она блѣднѣла и дрожала въ его присутствіи“ (Три года).

Жена отставного казачьяго офицера Жмухина—„это не жена не хозяйка, даже не прислуга, а скорѣе приживалка, бѣдная, никому не нужная родственница, ничтожество“. Самъ Жмухинъ рассказываетъ слѣдующее о своей женѣ. „Она изъ бѣднаго семейства, поповна, колокольнаго званія, такъ сказать; женился я на ней, когда ей было 17 лѣтъ, и ее выдали за меня больше изъ за того, что было ѣсть нечего, нужда, злыдни, а у меня все таки видите, земля, хозяйство, ну какъ ни какъ все таки офицеръ; лестно ей было за меня идти, знаете ли. Въ первый день, какъ поженились, она плакала и потомъ всѣ двадцать лѣтъ плакала—глаза на мокромъ мѣстѣ. И все она сидитъ и думаетъ, думаетъ. А о чемъ думаетъ, спрашивается? Что женщина можетъ думать? Ни о чемъ. Я женщину признаться не считаю за человѣка“ (Печенѣгъ).

Встрѣчаются и интеллигентныя, повидимому, семьи, въ которыхъ женщина занимаетъ подчиненное унижительное пониженіе.

Актеръ Феноменовъ бьетъ жену (Трагикъ).

Издѣвается надъ женой литераторъ Краснухинъ (Тссс!).

Щиряевъ и Жилинъ срываютъ на домашнихъ—женѣ и дѣтяхъ—свое дурное расположеніе духа (Тяжелые люди, Отецъ семейства).

Издѣвается надъ женой Шаликовъ, въ рассказѣ „Мужъ“. Акцизный Кирилль Петровичъ Шаликовъ имѣетъ основанія считать

себя интеллигентнымъ человѣкомъ: онъ когда то былъ въ университетѣ, читалъ Писарева и Добролюбова, пѣлъ пѣсни. По случаю остановки въ городѣ кавалерійскаго полка устроенъ былъ танцевальный вечеръ въ мѣстномъ клубѣ. Дамы, упоенныя танцами, музыкой, звономъ шпоръ, чувствовали себя на крыльяхъ и хоть на минуту забыли про дразги и мелочи повседневной жизни. Жена Шаликова Анна Павловна танцевала безъ передышки, до упада. Танцы утомили ее, но изнемогала она тѣломъ, а не душой... Вся ея фигура выражала восторгъ и наслажденіе. Грудь ея волновалась, на щекахъ играли красныя пятнышки, всѣ движенія были томны, плавны; видно было, что, танцуя, она вспоминала свое прошлое, то давнее прошлое, когда она танцевала въ институтѣ и мечтала о роскошной, веселой жизни и когда была увѣрена, что у нея будетъ мужемъ непременно баронъ или князь. Акцизный глядѣлъ на нее и морщился отъ злости... Во время мазурки лицо акцизнаго перекосило отъ злости... А Анна Павловна, блѣдная, трепещущая, согнувъ томно станъ и закрывъ глаза, старалась дѣлать видъ, что она едва касается земли, и, повидимому, ей самой казалось, что она не на землѣ, не въ уѣздномъ клубѣ, а гдѣ-то далеко-далеко — на облакахъ! Не одно только лицо, но уже все тѣло выражало блаженство... Акцизному стало невыносимо; ему захотѣлось насмѣяться надъ этимъ блаженствомъ, дать почувствовать Аннѣ Павловнѣ, что она забылась, что жизнь вовсе не такъ прекрасна, какъ ей теперь кажется въ упоеніи... Мелкія чувства зависти, досады, оскорбленнаго самолюбія, маленькаго, уѣзднаго человѣконенавистничества, того самого, которое заводится въ маленькихъ чиновникахъ отъ водки и отъ сидячей жизни, закопошились въ немъ какъ мыши". Дождавшись конца мазурки, акцизный потребовалъ, чтобы жена шла домой.

— „Зачѣмъ? Вѣдь еще рано!

— Я прошу тебя идти домой! — сказалъ акцизный съ разстановкой, дѣлая злое лицо.

— Зачѣмъ? Развѣ что случилось? — встревожилась Анна Павловна.

— Ничего не случилось, но я желаю, чтобъ ты сію минуту шла домой... Желаю, вотъ и все. и, пожалуйста, безъ разговоровъ".

Анна Павловна умоляла позволить ей остаться хоть полчаса, только десять минутъ, только пять минутъ; но акцизный упрямо сто ялъ на своемъ. Анна Павловна, сразу „осунулась, постарѣла, похудѣла; блѣдная, кусая губы и чуть не плача, она пошла въ переднюю стала одѣваться... Выйдя изъ клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шелъ сзади жены и, глядя на ея согнувшуюся, убитую горемъ и униженную фигурку, припоминалъ блаженство, которое такъ раздражало его въ клубѣ, и сознаніе, что блаженства уже нѣтъ, наполняло его душу побѣднымъ чувствомъ. Онъ былъ радъ и доволенъ“.

Рядомъ съ семьями Феноменовыхъ, Краснухиныхъ, Ширяевыхъ и Жилиныхъ, Чеховъ изображаетъ и другія интеллигентныя семьи, гдѣ нѣтъ издѣвательства надъ женщиной, а гдѣ есть противоположная крайность—издѣвательство надъ мужчиной.

Этотъ вопросъ объ униженіи человѣческаго достоинства интеллигентнаго мужчины, попавшаго подъ власть женщины, служитъ темой многихъ рассказовъ Чехова. Изъ болѣе раннихъ рассказовъ да относятся: „Женское счастье“, „Лишніе люди“, „Страдальцы“ и др. Большое художественное и общественное значеніе имѣютъ позднѣйшіе рассказы на ту же тему—„Попрыгунья“, „Супруга“ и др.

Въ рассказѣ „Попрыгунья“ выведена супружеская чета Дымовыхъ—Осипъ Степановичъ и Ольга Ивановна. Мужъ. „Осипъ Степановичъ Дымовъ, былъ врачомъ и имѣлъ чинъ титулярнаго вѣтника. Служилъ онъ въ двухъ больницахъ: въ одной сверхтатнымъ ординаторомъ, а въ другой—прозекторомъ. Ежедневно въ 9 часовъ утра до полудня онъ принималъ больныхъ и занимался у себя въ палатѣ, а послѣ полудня ѣхалъ на конкѣ въ другую больницу, гдѣ вскрывалъ умершихъ больныхъ. Частная практика его была ничтожна—рублей на пятьсотъ въ годъ. Вотъ все. Что еще про него можно сказать? А между тѣмъ Ольга Ивановна и ея друзья и добрые знакомые были не совсѣмъ обыкновенные люди. Каждый изъ нихъ былъ чѣмъ нибудь замѣчательнъ и немножко извѣстенъ.“ Ольга Ивановна очень весело проводитъ время со своими замѣчательными друзьями, очень умѣло тратитъ зарабатываемыя мужемъ деньги и, не задумываясь, измѣняетъ ему. Дымовъ догадывается объ измѣнѣ жены, но тер-

пѣливо несетъ свой крестъ: по прежнему весь день занимается практикой, а все свободное время до поздней ночи посвящаетъ наукѣ. Занятія наукой увѣнчались успѣхомъ; онъ защитилъ диссертацию на степень доктора медицины и мечтаетъ о томъ, что получить приватъ-доцентуру по общей патологiи. Эти научныя интересы и мечты мужа совершенно чужды Ольгѣ Ивановнѣ. Разсказъ оканчивается смертью Дымова. Дымовъ заразился и умеръ. Присутствовавшій при его кончинѣ товарищъ докторъ Коростелевъ говоритъ Ольгѣ Ивановнѣ: „Умираетъ, потому что пожертвовалъ собой... Работалъ какъ волъ, день и ночь, никто его не щадилъ, и молодой ученый, будущій профессоръ, долженъ былъ искалѣчать себя практику и по ночамъ заниматься переводами, чтобы платить вотъ за эти.. подлая тряпки. Коростелевъ поглядѣлъ съ ненавистью на Ольгу Ивановну“.

Дѣйствующія лица въ разсказѣ „Супруга“ — докторъ Николай Евграфовичъ и его жена Ольга Дмитриевна. Докторъ убѣдился, что жена невѣрна ему и находится въ связи съ молодымъ человекомъ по фамилиі Рись, который уѣхалъ за границу. Онъ едва не заплакалъ отъ обиды. „Въ немъ возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась отъ отвращенія, онъ спрашивалъ себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, бурсакъ по воспитанію, прямой, грубый человекъ, по профессіи хирургъ -- какъ это онъ могъ отдаться въ рабство, такъ позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданію?... Лучшіе годы жизни протекли, какъ въ аду, надежды на счастье разбиты и осмѣяны, здоровья нѣтъ, въ комнатахъ его пошлая, кокоточная обстановка, а изъ десяти тысячъ, которыя онъ зарабатываетъ ежегодно, онъ никакъ не соберется послать матери-попадѣ хотя бы десять рублей, и уже долженъ по векселямъ тысячъ пятнадцать. Казалось, если бы въ его квартирѣ жила шайка разбойниковъ, то и тогда бы жизнь его не была такъ безнадежно, непоправимо разрушена, какъ при этой женщинѣ.“ Докторъ рѣшилъ объясниться съ женой, принять вину на себя и дать ей разводъ, пусть уходитъ къ любимому человеку. Но жена на разводъ не согласилась, она просила дать ей заграничный паспортъ, а не разводъ. А когда мужъ началъ убѣждать, что единственный выходъ въ ея поло-

женіи—разводъ и, затѣмъ, новый бракъ съ любимымъ человѣкомъ то она сказала:

— „Благодарю васъ, я не такая дура, какъ вы думаете. Развода я не приму и отъ васъ не уйду, не уйду, не уйду! Во первыхъ, я не желаю терять общественнаго положенія... Во-вторыхъ, мнѣ уже 27 лѣтъ, а Рису 23; черезъ годъ я ему надоѣмъ и онъ меня броситъ. И, въ-третьихъ, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлеченіе можетъ продолжаться долго... Вотъ вамъ! Не уйду я отъ васъ“.

И не ушла. А докторъ „опять, съ недоумѣніемъ, спрашивалъ себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, по воспитанію бурсакъ, простой, грубый и прямой человѣкъ, могъ такъ безпомощно отдаться въ руки этого ничтожнаго, лживаго, пошлаго, мелкаго, по натурѣ совершенно чуждаго ему существа.“

Таковы супружескія отношенія между мужчиной и женщиной. Въ сферѣ отношеній внѣбрачныхъ замѣчаются тѣ же явленія. На каждомъ шагу унижается человѣческое достоинство женщины легкаго поведенія—проститутки, хористки, содержанки, обитательницы домовъ терпимости.

Прелестнѣйшая Ванда (разказъ „Знакомый мужчина“), выпивши изъ больницы, очутилась безъ пріюта и безъ копѣйки денегъ; находясь въ такомъ положеніи, она начала думать о своей „нехорошей, тяжелой жизни, о тѣхъ оскорбленіяхъ, какія она переносила и еще будетъ переносить завтра, черезъ недѣлю черезъ годъ,—всю жизнь, до самой смерти“.

Студентъ медикъ Клочковъ обращается со своей сожительницей Анютой, какъ съ вещью, и подъ вліяніемъ минутнаго настроенія прогоняетъ ее, какъ собаку (Анюта).

Хористку Пашу безвинно и безнаказанно оскорбляетъ барыня, жена ея обожателя Колпакова. А когда ушла барыня, Пашу явчалъ оскорблять Колпаковъ. Паша стала громко плакать отъ обиды. „Она вспомнила, что три года тому назадъ ее ни за что, ни про что побилъ одинъ купецъ, и еще громче заплакала“ (Хористка).

Студентъ Васильевъ приходитъ въ ужасъ отъ того, что онъ видѣлъ и слышалъ въ домахъ терпимости. „Порокъ есть, думалъ онъ, но нѣтъ ни признанія вины, ни надежды на спасеніе. Ихъ

продаютъ, покупаютъ, топятъ въ винѣ и въ мерзостяхъ, а онѣ какъ овцы, тупы, равнодушны и не понимаютъ... Боже мой Боже мой"!... Для него ясно было, что все то, что называется человѣческимъ достоинствомъ, личностью, образомъ и подобіемъ Божьимъ, осквернено тутъ до основанія, „въ дрызгъ“, какъ говорятъ пьяницы“ (Принадокъ).

И въ сферѣ внѣбрачныхъ отношеній бываютъ случаи, когда женщина унижаетъ человѣческое достоинство мужчины.

Экономка Вѣра Никитишна, простая, необразованная баба командуетъ надъ всѣми въ домѣ генерала, а одинъ разъ самого генерала выругала и выгнала изъ комнаты (Женское счастье).

Прелестнѣйшая Ванда однажды за ужиномъ въ нѣмецкомъ клубѣ вылила зубному врачу Финкелю на голову стаканъ пива (Знакомый мужчина).

Любовь Ивановна наняла одинъ изъ флигелей помѣщика Блокурова подъ дачу, но такъ и осталась жить у него. Она управляла имъ строго, такъ что, отлучаясь изъ дому, онъ долженъ былъ спрашивать у нея позволенія (Домъ съ мезониномъ).

Иванъ Ильичъ Шамохинъ, помѣщикъ, университетскій членъ, скромный, съ идеальными порывами, очутился во власти своей любовницы, лживаго и лукаваго существа. На основаніи горькаго опыта личной жизни Шамохинъ приходитъ къ слѣдующимъ мыслямъ о взаимныхъ отношеніяхъ между мужчиной и женщиной въ интеллигентной средѣ: „Пока только въ деревняхъ женщина не отстаётъ отъ мужчины, тамъ она такъ же мыслитъ, чувствуетъ и такъ же усердно борется съ природой, во имя культуры, какъ и мужчина. Городская же, буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается къ своему первобытному состоянію, наполовину она уже члвкъ-звѣрь и, благодаря ей, очень многое, что было завоевано члвческимъ гніемъ, уже потеряно; женщина мало-по-малу исчезаетъ, на ея мѣсто садится первобытная самка... Въ городахъ все воспитаніе и образованіе женщины въ своей главной сущности сводятся къ тому, чтобы выработать изъ нея члвчка-звѣря, т. е. чтобы он нравилась самцу и чтобы умѣла побѣдить этого самца... Нужно чтобы дѣвочки воспитывались и учились вмѣстѣ съ мальчиками: чтобы тѣ и другіе были всегда вмѣстѣ. Надо воспитывать же

дину такъ, чтобы она умѣла, подобно мужчинѣ, сознавать свою неправоту, а то она, по ея мнѣнію, всегда права. Внушайте дѣвочкѣ съ пеленокъ, что мужчина, прежде всего, не кавалеръ и не женихъ, а ея ближній, равный ей во всемъ“ (Аріадна).

Итакъ, женщина—или приравняется къ полезному домашнему животному, которое служить своему хозяину-мужчинѣ, или превращается въ самку, которая побѣждаетъ самца-мужчину и властвуетъ надъ нимъ. Въ обоихъ случаяхъ унижается человѣческое достоинство женщины.

Исторія отношеній между родителями и дѣтьми напоминаетъ исторію отношеній между супругами: права дѣтей постепенно вырастаютъ, суровая власть родителей постепенно смягчается, и человѣчество постепенно приходитъ къ признанію равнаго человѣческаго достоинства за дѣтьми и взрослыми. Въ русскомъ обществѣ, изображенномъ Чеховымъ, не всегда и не вездѣ признается человѣческое достоинство за дѣтьми. Въ семьяхъ низшихъ, среднихъ и даже высшихъ классовъ еще сохранили полную силу принципы, сформулированные въ „Домостроѣ“ попа Сильвестра: „Казни сына своего отъ юности его, и покоить ты на старость твою и дасть ти красоту души твоей. И не ослабѣй бія младенца; аще бо жезломъ біеши, то не умретъ, но здравѣе будетъ: ты бо бія его по тѣлу, душу его избавляешь отъ смерти... наказуй его во младости, да радуешься о немъ въ мужествѣ“. И многіе русскіе люди, слѣдуя этому завѣту попа Сильвестра, побоями воспитываютъ дѣтей.

Бабка, въ разсказѣ „Мужики“, бьетъ своихъ внучекъ.

Купецъ Лаптевъ бьетъ своихъ дѣтей. Я помню, говоритъ Лаптевъ-сынъ, „отецъ началъ учить меня, или, по просту говоря, бить, когда мнѣ не было еще пяти лѣтъ. Онъ сѣкъ меня розгами, дралъ за уши, билъ по головѣ, и я, просыпаясь, каждое утро думалъ прежде всего: будутъ ли сегодня драть меня? Играть и шалить мнѣ и Федору запрещалось; мы должны были ходить къ утренѣ и къ ранней обѣднѣ, цѣловать попамъ и монахамъ руки, читать дома акаѣисты... когда мнѣ было восемь лѣтъ, меня уже взяли въ амбаръ; я работалъ, какъ простой мальчикъ, и это было нездорово, потому что меня тутъ били почти каждый день“.

У сестры Лаптева Нины Оедоровны Панауровой „дѣтство было длинное, скучное; отецъ обходился сурово, и даже раза три наказывалъ ее розгами“ (Три года).

Лопахинъ (въ „Вишневомъ саду“) говоритъ: „Мой папаша былъ мужикъ, идиотъ, ничего не понималъ, меня не училъ, а толбилъ спяна и все палкой“. Въ другомъ мѣстѣ пьесы тотъ же Лопахинъ вспоминаетъ: „Помню, когда я былъ мальчикомъ летъ пятнадцати, отецъ мой покойный,—онъ тогда здѣсь въ деревнѣ въ лавкѣ торговалъ,—ударилъ меня по лицу кулакомъ, кровь пошла изъ носу“.

Въ разсказѣ „Случай съ классикомъ“ жилецъ, по просьбѣ матери, наказываетъ ея сына, получившаго двойку на экзаменѣ.

— „Батюшка! обратилась къ жильцу мамаша, заливаясь слезами.—Будьте столь благородны, посѣките моего... Сдѣлайте милость! Не выдержалъ, горе мое! Вѣрите ли, не выдержалъ! Не могу я наказывать, по слабости моего нездоровья... Посѣките за-мѣсто меня, будьте столь благородны и деликатны, Евтихий Кузьмичъ! Уважьте больную женщину!“

Евтихий Кузьмичъ исполнилъ просьбу матери и высѣкъ мальчи-ка.

Въ разсказѣ „Не въ духѣ“ становой приставъ Прачкинъ сѣ-маетъ на сынѣ свое дурное расположеніе духа.

— „Ваня!—крикнулъ онъ (сыну-гимназисту).—Иди, я тебя вы-сѣку за то, что ты вчера стекло разбилъ“.

Бьетъ своего сына интеллигентный человѣкъ—архитекторъ (въ разсказѣ „Моя жизнь“). Сынъ, отъ имени котораго ведетъ разсказъ, говоритъ, передавая одинъ свой разговоръ съ отцомъ.

„Почему-то совершенно неожиданно для меня, эти слова сил-но оскорбили отца. Онъ весь побагровѣлъ.— Не смѣй такъ раз-говаривать со мною, глупецъ!—крикнулъ онъ тонкимъ, визгливымъ голосомъ.—Негодяй!—И быстро и ловко, привычнымъ дви-женіемъ ударилъ меня по щекѣ разъ и другой.— Ты сталъ забы-ваться! Въ дѣтствѣ, когда меня билъ отецъ, я долженъ былъ стоять прямо, руки по швамъ, и глядѣть ему въ лицо. И теперь, когда онъ билъ меня, я совершенно терялся и, точно мое дѣт-ство все еще продолжалось, вытягивался и старался смотрѣть прямо въ глаза. Отецъ мой былъ старъ и очень худъ, но, должно быть, тонкія мышцы его были крѣпки, какъ ремни, потому что

дрался онъ очень больно. Я попятился назадъ въ переднюю, и тутъ онъ схватилъ свой зонтикъ и нѣсколько разъ ударилъ меня по головѣ и по плечамъ“.

Воспитаніе дѣтей при помощи побоевъ практикуется и въ школѣ.

Тюремный смотритель Яшкинъ въ бесѣдѣ съ штатнымъ смотрителемъ уѣздного училища Пимфовымъ высказываетъ мнѣніе о ненужности буквы ять.

„Да и сѣкли же меня за этотъ ять!—продолжаетъ Яшкинъ. —Помню это, вызываетъ меня разъ учитель къ черной доскѣ и диктуетъ: „лѣкаръ уѣхалъ въ городъ“... Я взялъ написалъ *ткаръ* съ *е*. Выпоролъ. Черезъ недѣлю опять къ доскѣ опять пиши: „лѣкаръ уѣхалъ въ городъ“. Пишу на этотъ разъ съ ятемъ. Опять пороть. За что-же, Иванъ Ѳомичъ? Помилуйте, сами же вы говорили, что тутъ ять нужно! „Тогда, говоритъ, я заблуждался; прочитавъ же вчера сочиненіе нѣкаго академика о ять въ словѣ лѣкаръ, соглашаюсь съ академіей наукъ. Порю же я тебя по долгу присяги“... Ну и поролъ. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши отъ этого ять“... (Мыслитель).

Гимназистъ Мамахинъ „терпѣть не могъ учителя французскаго языка. „Я, кричитъ, дворянинъ и не позволю, чтобъ французъ надо мною старшимъ былъ! Мы, кричитъ, въ двѣнадцатомъ году французовъ били!“ Ну, его, конечно, пороли... сильно пороли! А онъ бывало, какъ замѣтитъ, что его пороть хотятъ, прыгъ въ окно и былъ таковъ! Этакъ дней пять-шесть потомъ въ гимназію не показывается. Мать приходитъ къ директору, молитъ Христомъ-Богомъ: „Господинъ директоръ, будьте столь добры, найдите моего Мишку, посѣките его подлеца!“ (Наканунѣ поста).

Тѣ, челоѣческое достоинство которыхъ оскорбляется болѣе сильными, съ своей стороны, не признаютъ челоѣческаго достоинства въ другихъ людяхъ, которые въ силу какихъ нибудь обстоятельствъ становятся въ зависимое отъ нихъ положеніе или которыхъ они по какимъ нибудь соображеніямъ ставятъ ниже себя.

Мы видѣли, что ремесленникъ, котораго оскорбляетъ баринъ заказчикъ, самъ оскорбляетъ своихъ учениковъ.

Мы видѣли также, что мелкій чиновникъ, терпящій унижительное обращеніе со стороны начальника, самъ считаетъ себя въ правѣ оскорблять мужика или рабочаго челоѣка.

Приказчики, надъ которыми издѣвается купецъ-хозяинъ, не прочь поглумиться надъ всякимъ беззащитнымъ человѣкомъ. „Когда я возвращался съ работы домой, рассказываетъ Полозневъ (Моя жизнь), то всѣ эти, которые сидѣли у воротъ на лавочкахъ, всѣ приказчики, мальчики и ихъ хозяева пускали мнѣ вслѣдъ разныя замѣчанія, насмѣшливыя и злобныя, и это на первыхъ порахъ волновало меня и казалось просто чудовищнымъ.

— Маленькая польза!—слышалось со всѣхъ сторонъ.—Маларь! Охра!

И никто не относился ко мнѣ такъ немилостиво, какъ именно тѣ, которые такъ недавно сами были простыми людьми и добывали себѣ кусокъ хлѣба чернымъ трудомъ. Въ торговыхъ рядахъ, когда я проходилъ мимо желѣзной лавки, меня какъ бы нечаянно обливали водой, и разъ даже швырнули въ меня палкой“.

Каждый день въ амбаръ Лаптевыхъ „приходилъ спившійся дворянинъ, больной жалкій человѣкъ, который переводилъ въ конторѣ иностранную корреспонденцію; приказчики называли его фитюлькой и поили его чаемъ съ солью“.

Лаптевъ зналъ, что въ торговомъ заведеніи его отца, въ такъ называемомъ амбарѣ, „мальчиковъ сѣкутъ до крови, разбиваютъ имъ носы“, а „когда эти мальчики вырастутъ, то сами тоже будутъ бить“. Таковъ былъ Початкинъ. Онъ „служилъ у Лаптевыхъ давно и поступилъ къ нимъ, когда ему было еще восемь лѣтъ... Онъ былъ главнымъ... За жестокое обращеніе съ подчиненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовымъ“ (Три года).

Прислуга не признаетъ человѣческаго достоинства въ тѣхъ, кто не-баринъ.

Лакей Мишенька (въ рассказѣ „Бабье царство“) „богатыхъ и знатныхъ уважалъ и благоговѣлъ передъ ними, бѣдняковъ же и всякаго рода просителей презиралъ всею силою своей лакейски-чистоплотной души.“ „Бѣдные всегда должны почитать богатыхъ, говорилъ Мишенька. Сказано: Богъ шельму мѣтитъ. Въ острогахъ, въ ночлежныхъ домахъ и въ кабакахъ всегда только одни бѣдные; а порядочные люди, замѣтите, всегда богатые. Про богатыхъ сказано: бездна бездну призываетъ.“

Въ „Разсказѣ неизвѣстнаго человѣка“ неизвѣстный, поступившій лакеемъ къ одному петербургскому барину Орлову, такъ характеризуетъ горничную Полю: „Я не ладила съ Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что онъ баринъ, и презиравшая меня за то, что я лакей... Оттого-ли, что я не воровалъ вмѣстѣ съ нею, или не изъяслялъ никакого желанія стать ея любовникомъ, что, вѣроятно, оскорбляло ее, или, быть можетъ, оттого, что она чужда во мнѣ чужого человѣка, она возненавидѣла меня съ перваго же дня... Она такъ искренно вѣрила, что я не человѣкъ, а нѣчто стоящее неизмѣримо ниже ея, что, подобно римскимъ матронамъ, которыя не стыдились купаться въ присутствіи рабовъ, при мнѣ иногда ходила въ одной сорочкѣ.“

Съ другой стороны тѣ, челоѣческое достоинство которыхъ постоянно унижается, привыкають къ такому отношенію къ себѣ. Въ челоѣкѣ унижаемомъ и оскорбляемомъ притупляется чувство собственнаго челоѣческаго достоинства.

Притупилось чувство челоѣческаго достоинства мужика. Одну изъ характерныхъ чертъ мужицкой жизни составляетъ попрошайничество.

„Моя жена строила школу, говоритъ Полозневъ... мы три раза собирали сходъ и убѣждали крестьянъ, что ихъ школа тѣсна и стара, и что необходимо строить новую. Пріѣзжали членъ земской управы и инспекторъ народныхъ училищъ и тоже убѣждали. Послѣ каждаго схода, насъ окружали и просили на ведро водки.“ Когда, наконецъ, приступили къ постройкѣ школы, то „конца не было недоразумѣніямъ, брани и попрошайству“ (Моя жизнь).

Въ „Мужикахъ“ разсказывается о пожарѣ въ деревнѣ. Тушить пожаръ пріѣхали изъ помѣщичьей усадьбы—студентъ, приказчики и рабочіе; двѣ барышни пришли смотрѣть на пожаръ. Когда пожаръ кончился, бывшая горничная Ольга вступила въ разговоръ съ „господами“. „Обѣ барышни сказали что-то по французски студенту, и тотъ подалъ Самѣ (дочкѣ Ольги) двугривенный. Старикъ Осипъ видѣлъ это, и на лицѣ у него вдругъ засвѣтилась надежда.—Благодарить Бога, ваше высокоблагородіе, вѣтра не было,—сказалъ онъ, обращаясь къ студенту,—а то-бы погорѣли въ одночасье. Ваше высокоблагородіе, господа хоро-

шіе,—добавилъ онъ конфузливо, тономъ ниже,—заря холодная, погрѣться-бы... на полбутылочки съ вашей милости.“

„Сегодня, говоритъ ветеринарный врачъ Иванъ Ивановичъ, въ разсказѣ „Крыжовникъ“, толстый помѣщикъ тащитъ мужиковъ къ земскому начальнику за потраву, а завтра, въ торжественный день, ставитъ имъ полведра, а они пьютъ и кричатъ ура, и пьяные кланяются ему въ ноги“.

Нѣтъ чувства собственнаго достоинства у рабочихъ людей. Полозневъ говоритъ о малярахъ: „Просить на чай не стыдились даже почтенные старики, имѣвшіе въ Макарихѣ собственные дома, и было досадно и стыдно, когда ребята гурьбой поздравляли какое нибудь ничтожество съ первоначатиємъ или окончаніемъ и, получивъ отъ него гривенникъ, униженно благодарили. Съ заказчиками они держали себя, какъ лукавые царедворцы, и мнѣ почти каждый день вспоминался шекспировскій Полоній.“

— А, должно быть, дождь будетъ,—говорилъ заказчикъ, глядя на небо

— Будетъ, безпремѣнно будетъ!—соглашались маляры.

— Впрочемъ, облака не дождевыя. Пожалуй, не будетъ дождя.

— Не будетъ, ваше высокородіе. Вѣрно, не будетъ“ (Моя жизнь).

На ту же тему объ отсутствіи чувства человѣческаго достоинства у рабочаго человѣка—ремесленника—написанъ разсказъ Чехова „Капитанскій мундиръ“.

Капитанъ заказалъ мундиръ. Когда мундиръ былъ готовъ, портной денегъ не получилъ. „Ну и дура! сказалъ онъ женѣ. Нешто настоящіе господа платятъ сразу? Это не купецъ какой нибудь—взялъ да тебѣ сразу и вывалилъ!“ На третій день онъ отправился за получкой. Долго пришлось ждать, такъ какъ капитанъ спалъ.—„Гони въ шею! скажи, что въ субботу!“—услышалъ портной послѣ долгаго ожиданія приказъ капитана деньщику. „То же самое услышалъ онъ въ субботу, въ одну, потомъ въ другую. Цѣлый мѣсяцъ ходилъ онъ къ капитану, высиживалъ долгіе часы въ передней, и вмѣсто денегъ получалъ приглашеніе убираться къ черту и придти въ субботу. Но онъ не унывалъ, не ропталъ, а напротивъ... Онъ даже пополнѣлъ. Ему нравилось долгое ожиданіе въ передней, „гони въ шею“

звучало въ ушахъ сладкой мелодіей. „Сейчасъ узнаешь благороднаго!“ восторгался онъ всякій разъ, возвращаясь отъ капитана домой“. Однажды портной на улицѣ заговорилъ съ капитаномъ о деньгахъ. — „Пошелъ вонъ! — отвѣтилъ ему капитанъ. — Ты мнѣ надоѣлъ!“ Но портной продолжалъ надоѣдать. — „Ааа... ты еще разговаривать Капитанъ размахнулся и — трахъ! Изъ глазъ портного посыпались искры, изъ рукъ выпала шапка“, но „на лицѣ плавала блаженная улыбка, на смѣющихся глазахъ блестяли слезы. — Сейчасъ видать настоящихъ господъ! — бормоталъ онъ. — Люди деликатные, образованные... Точь въ точь бывало... по самому этому мѣсту, когда носилъ шубу къ барону Шпунцелю, Эдуарду Карлычу... Размахнулись и — трахъ! И господинъ подпоручикъ Зембулатовъ тоже... Пришелъ къ нимъ, а они вскочили и изъ всей мочи... Эхъ, прошло мое время!“

Нѣтъ чувства собственного достоинства у приказчиковъ. Приказчики въ амбарѣ Лаптева — люди обезличенные и обездоленные.

Нѣтъ чувства собственного достоинства у прислуги.

Кутящій въ загородномъ ресторанѣ фабрикантъ Фроловъ говоритъ адвокату Альмеру: „Взять хоть этихъ вотъ лакеевъ. Физиономіи, какъ у профессоровъ, сѣдые, по двѣсти рублей въ мѣсяцъ добываютъ, своими домами живутъ, дочекъ въ гимназіяхъ обучаютъ, но ты можешь ругаться и тонъ задавать, сколько угодно... Честное слово, если бъ хоть одинъ обидѣлся, я бы ему тысячу рублей подарилъ“ (Пьяные).

Докторъ говоритъ княгинѣ (разсказъ „Княгиня“: „Все, что есть на десяткахъ тысячъ вашихъ десятинъ здороваго, сильнаго и красиваго, все взято вами и вашими прихлебателями въ гайдуки, лакеи, въ кучера. Все это двуногое живье воспиталось въ лакействѣ, объѣлось, огрубѣло, потеряло образъ и подобіе, однимъ словомъ“.

Крайнюю степень паденія человѣческаго достоинства въ прислугѣ рисуетъ Чеховъ въ „Разскаго неизвѣстнаго человѣка“. Здѣсь выведенъ типъ горничной Поли. Лице, отъ имени котораго ведется этотъ разсказъ, говоритъ:

„Однажды за обѣдомъ... я спросилъ:

— Поля, вы въ Бога вѣруете?

— А то какъ же!

— Стало быть вы вѣруете, — продолжалъ я, — что будетъ страшный судъ и что мы дадимъ отвѣтъ Богу за каждый свой дурной поступокъ?

Она ничего не отвѣтила и только сдѣлала презрительную гримасу и, глядя въ этотъ разъ на ея сытые, холодные глаза, я понималъ, что у этой цѣльной, вполне законченной натуры не было ни Бога, ни совѣсти, ни законовъ, и что если бы мнѣ понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не могъ бы найти лучшаго сообщника“.

Нѣтъ чувства человѣческаго достоинства у мелкаго чиновника.

Маленькій чиновникъ экзекуторъ какого то учрежденія Иванъ Дмитричъ Червяковъ нечаянно чихнулъ въ театрѣ и обрызгалъ сидящаго впереди статскаго генерала Брижжалова.

„Я его обрызгалъ! — подумалъ Червяковъ. — Не мой начальникъ, чужой, но все таки не ловко. Извиниться надо“.

Червяковъ наклонился впередъ и извинился. Но его мучить безпокойство, что генералъ оскорбленъ. Въ антрактѣ Червяковъ снова извинился. На другой день Червяковъ надѣлъ новый вицмундиръ, постригся и пошелъ къ Брижжалову на пріемъ объясниться и извиниться. Когда, на слѣдующій послѣ этого объясненія день, Червяковъ снова явился извиняться, Брижжаловъ посинѣлъ, затрясся, затопалъ ногами и гаркнулъ: „пошелъ вонъ!“ Придя машинально домой, не снимая вицмундира, Червяковъ легъ на диванъ и... померъ.

Этотъ разсказъ, озаглавленный „Смерть чиновника“, относится къ числу раннихъ разсказовъ Чехова; онъ написанъ въ то время, когда господствующимъ мотивомъ литературной дѣятельности Чехова былъ смѣхъ. Но въ данномъ случаѣ сквозь смѣхъ прорываются жгучія слезы. Передъ нами глубокая драма, основанная на своеобразной оцѣнкѣ человѣческой личности: маленький чиновникъ слишкомъ высоко оцѣниваетъ достоинство лицъ съ генеральскимъ чиномъ и ни во что ставитъ собственное человѣческое достоинство: чихнулъ нечаянно маленький чиновникъ, обрызгалъ генерала и... конецъ, умеръ человѣкъ.

Нѣтъ чувства собственного достоинства у средняго человѣка, вообще, котораго на каждомъ шагу унижаютъ.

Народная учительница, по признанію Марьи Васильевны, въ разсказѣ „На подводѣ“, „всего боится. и въ присутствіи члена управы или попечителя школы она встаетъ, не осмѣливается сѣсть и, когда говоритъ про кого нибудь изъ нихъ, то выражается почтительно „они“.

Нѣтъ чувства человѣческаго достоинства у презираемаго и оскорбляемаго еврея.

Помѣщикъ Камышевъ говоритъ французу—гувернеру, въ разсказѣ „На чужбинѣ“:

— „Ахъ, чудакъ! Если я французовъ ругаю, такъ вамъ то съ какой стати обижаться? Чудакъ, право! Берите примѣръ вотъ съ Лазаря Исаича, арендатора... И его и такъ, и этакъ, и жидомъ, и пархомъ, и свинячье ухо изъ полы дѣлаю, и за пейсы хватаю... не обижается же“.

Теряетъ чувство собственного достоинства низшее духовенство, надъ которымъ издѣвается духовное начальство.

Викарный архіерей (въ разсказѣ „Архіерей“) „не могъ никакъ привыкнуть къ страху, какой онъ, самъ того не желая, возбуждалъ въ людяхъ, не смотря на свой тихій, скромный нравъ. Всѣ люди въ этой губерніи, когда онъ глядѣлъ на нихъ, казались ему маленькими, испуганными, виновными. Въ его присутствіи робѣли всѣ, даже старики протоіереи, всѣ „бухали“ ему въ ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова отъ страха, такъ и ушла ни съ чѣмъ“.

Унижаемые и оскорбляемые теряютъ чувство собственного человѣческаго достоинства. Но люди всегда остаются людьми, и паденіе человѣка не можетъ дойти до полной утраты образа и подобія Божьяго. Я уже указывалъ, что, по свидѣтельству Чехова, даже на каторгѣ люди сохраняютъ черты образа и подобія Божьяго. А воля во всякомъ случаѣ лучше каторги.

Русская деревня—темное царство мрака, но безпристрастному наблюдателю ясно, что причины того мрака, который густой пеленой окружаетъ мужицкую жизнь, не въ мужикѣ, а внѣ мужика и что мужикъ—человѣкъ. Ольга (въ разсказѣ „Мужики“), проведя лѣто и зиму среди мужиковъ, приходитъ къ такому выводу:

Въ теченіе лѣта и зимы были такіе часы и дни, „когда казалось, что эти люди живутъ хуже скотовъ, жить съ ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живутъ не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважаютъ, боятся и подозрѣваютъ другъ друга... Да, жить съ ними было страшно, но все же они люди, они страдаютъ и плачутъ, какъ люди, и въ жизни ихъ нѣтъ ничего такого, чему нельзя было бы найти оправданія“.

Мало того. безпристрастному наблюдателю мужицкой жизни ясно, что есть лучи свѣта и въ этомъ темномъ царствѣ, и что за всѣми темными сторонами скрываются въ русскомъ мужикѣ черты образа и подобія Божьяго.

Къ такому выводу приходитъ Полозневъ (въ рассказѣ „Моя жизнь“). Онъ говоритъ:

„Я привыкалъ къ мужикамъ и меня все больше тянуло къ нимъ. Въ большинствѣ это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди съ подавленнымъ воображеніемъ, невѣжественные, съ бѣднымъ, тусклымъ кругозоромъ, все съ одними и тѣми же мыслями о сѣрой землѣ, о сѣрыхъ дняхъ, о черномъ хлѣбѣ... люди, которые хитрили, но, какъ птицы, прятали за дерево только одну голову,—которые не умѣли считать. Они не шли къ вамъ на сѣнокосъ за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. Въ самомъ дѣлѣ, были грязь и пьянство, и глухость, и обманы, но при всемъ томъ, однако чувствовалось, что жизнь мужицкая, въ общемъ, держится на какомъ то крѣпкомъ, здоровомъ стержнѣ. Какимъ бы неуклюжимъ звѣремъ ни казался мужикъ, идя за своею сохою, и какъ бы онъ ни дурманилъ себя водкой, все же, приглядываясь къ нему поближе, чувствуешь, что въ немъ есть то нужное и очень важное, чего нѣтъ, на примѣръ, въ Машѣ и въ докторѣ, а именно, онъ вѣритъ, что главное на землѣ— правда, и что спасеніе его и всего народа въ одной лишь правдѣ, и потому больше всего на свѣтѣ онъ любитъ справедливость“.

Въ рассказѣ Чехова попадаютъ типы мужиковъ, которые исповѣдуютъ эту непоколебимую вѣру въ правду. Таковъ сотскій Лошадинъ въ рассказѣ „По дѣламъ службы“. Дѣвица Юлія Лѣс-

ницкая, рассказала сотскій слѣдователю, „когда помирала. то все свое добро подѣлила; на монастырь записала сто десятинъ, да намъ, обществу крестьянъ деревни Недощотовой, на поминъ души, двѣсти, а братецъ ейный. баринъ-то, бумагу спряталъ, сказываютъ, въ печкѣ сжегъ и всю землю себѣ забралъ. Думалъ, значить, себѣ на пользу, анъ—нѣтъ, погоди. на свѣтѣ неправдой не проживешь, братъ“... Познакомившись съ сотскимъ слѣдователь думалъ о томъ, „сколько еще въ жизни придется встрѣчать такихъ истрепанныхъ, давно нечесанныхъ, „не стоящихъ“ стариковъ, у которыхъ въ душѣ какимъ то образомъ крѣпко жились пятиалтыничекъ, стаканчикъ и глубокая вѣра въ то, что на этомъ свѣтѣ „неправдой не проживешь“.

Отецъ ямщика въ рассказѣ „Пронсѣвствіе“ на дѣлѣ показываетъ, что нужно жить по правдѣ: „Человѣкъ онъ былъ богобоязненный, говоритъ ямщикъ, писаніе читали, и чтобы обсчитать кого, или обидѣть, или, скажемъ, не ровень часть. обжулить—это не дай Богъ, и мужики ихъ очень обожали, и когда нужно было кого въ городъ послать—по начальству, или съ деньгами, то ихъ посылали. Были они выдѣляющее изъ обыкновеннаго“.

Отецъ ямщика—„выдѣляющійся изъ обыкновенныхъ“. Выдѣляющіеся изъ обыкновенныхъ попадаютъ и въ другихъ классахъ общества среди людей унижаемыхъ и оскорбляемыхъ. Таковы: еврей Соломонъ въ рассказѣ „Степь“, горничная Ольга въ рассказѣ „Мужики“, плотникъ Костыль въ рассказѣ „Въ оврагѣ“, маляръ Рѣдка въ рассказѣ „Моя жизнь“ и другіе.

Проѣзжающіе, возмущенные отзывомъ еврея Соломона о миллионерѣ Варламовѣ, замѣтили: —„какъ же ты, дуракъ этакій, равняешь себя съ Варламовымъ“. —„Я еще не настолько дуракъ, чтобы равнять себя съ Варламовымъ,—отвѣтилъ Соломонъ, насмѣшливо оглядывая своихъ собесѣдниковъ. — Варламовъ хоть и русскій, но въ душѣ онъ жидъ пархатый; вся жизнь у него въ деньгахъ и въ наживѣ, а я свои деньги спалилъ въ печкѣ. Мнѣ не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтобъ меня боялись и снимали шапки, когда я ѣду. Значить, я умнѣй вашего Варламова и больше похожъ на человѣка“.

Бывшая горничная Ольга „каждый день читала Евангеліе... она вѣрила въ Бога, въ Божью мать, въ угодниковъ; вѣрила, что нельзя обижать никого на свѣтѣ.—ни простыхъ людей, ни нѣмцевъ, ни цыганъ, ни евреевъ, и что горе даже тѣмъ, кто не жалѣетъ животныхъ“...

Плотникъ Костыль рассказываетъ о своемъ разговорѣ съ фабрикантомъ Костюковымъ:

Фабрикантъ Костюковъ „осерчалъ на меня. „Много, говорить тесу пошло на карнизы“.—Какъ много? сколько надо было. Василій Данилычъ, столько, говорю, и пошло. Я его не съ кашей ѣмъ, тесъ-то.—„Какъ говорить, ты можешь мнѣ такія слова? Болванъ, такой, сякой! Не забывайся! Я. кричить, тебя подрядчикомъ сдѣлалъ!“—Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не былъ въ подрядчикахъ, все равно каждый день чай нилъ. „Всѣ, говорить, вы жулики...“ Я смолчалъ. Мы на этомъ свѣтѣ жулики, думаю, а вы на томъ свѣтѣ будете жулики. Хо—хо—хо! На другой день отмякъ. „Ты, говорить, на меня не гнѣвайся, Макарычъ, за мои слова. Ежели я, говорить, что лишнее, такъ вѣдь и то сказать, я купецъ первой гильдіи, старше тебя, ты смолчать долженъ“.—Вы, говорю, купецъ первой гильдіи, а я плотникъ, это правильно. И святой Іосифъ, говорю, былъ плотникъ. Дѣло наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вамъ угодно быть старше, то сдѣлайте милость, Василій Данилычъ. А потомъ этого, послѣ, значить, разговору, я и думаю: кто же старше? Купецъ первой гильдіи или плотникъ? Стало быть плотникъ, дѣточки!

Костыль подумалъ и прибавилъ:

— Оно такъ, дѣточки. Кто трудится, кто терпитъ, тотъ и старше“.

Маляръ Рѣдка говорить: „Душа у праведнаго бѣлая и гладкая, какъ мѣлъ, а у грѣшника, какъ пемза. Душа у праведнаго—олифа свѣтлая, а у грѣшника—смола газовая. Трудиться надо, скорбѣть надо, болѣзновать надо, а который человекъ не трудится и не скорбитъ, тому не будетъ царства небснаго. Горе, горе сытымъ, горе сильнымъ, горе богатымъ, горе заимодавцамъ! Не видать имъ царствія небснаго. Тяга въ траву, ржа желѣзо, а лжа душу“.

Всѣ эти типы—отдѣльные свѣтлые лучи въ томъ мракѣ, кото-

рый окутываетъ жизнь людей униженныхъ и обиженныхъ. Но бываютъ моменты, когда вся жизнь униженныхъ и обиженныхъ озаряется лучами свѣта и когда очевиднымъ дѣлается, что всѣ — и тѣ, которые на каждомъ шагѣ оскорбляются и унижаются, — люди, т. е. существа, созданныя по образу и подобию Божьему. Такой моментъ изображенъ Чеховымъ въ „Островѣ“ Сахалинѣ въ разсказѣ о вѣнчаніи каторжника. Такіе моменты изображены также въ разсказахъ „Мужики“ и „Художество“.

Въ разсказѣ „Художество“ изображено минутное забвеніе ужасовъ жизни ради удовлетворенія высшихъ потребностей духа. Разсказъ оканчивается — картиной крестнаго хода на Іордань.

„Изъ церкви одну за другой выносятъ хоругви, раздается бойкій, спѣшашій трезвонъ... Боже милостивый, какъ хорошо!... трезвонъ дѣлается еще громче, день еще яснѣе. Хоругви колышутся и двигаются надъ толпой, точно по волнамъ. Крестный ходъ, сіяя ризами иконъ и духовенства, медленно сходитъ внизъ по дорогѣ и направляется къ Іордани. Машутъ колокольнѣ руками, чтобы тамъ перестали звонить, и водосвятіе начинается. Служать долго, медленно, видимо стараясь продлить торжество и радость общей народной молитвы.“

Въ разсказѣ „Мужики“, тоже изображается религіозное торжество.

„Въ Жуковѣ, въ этой Холуевкѣ, происходило разъ настоящее религіозное торжество. Это было въ августѣ, когда по всему уѣзду, изъ деревни въ деревню, носили Живоносную. Въ тотъ день, когда ее ожидали въ Жуковѣ, было тихо и пасмурно. Дѣвушки еще съ утра отпраздничали навстрѣчу иконѣ въ своихъ яркихъ нарядныхъ платьяхъ и принесли ее подъ вечеръ, съ крестнымъ ходомъ, съ пѣніемъ, и въ это время за рѣкой трезвонили. Громадная толпа своихъ и чужихъ запрудила улицу; шумъ, пыль, давка... И старикъ, и бабка, и Кирыакъ — всѣ протягивали руки къ иконѣ, жадно глядѣли на нее и говорили, плача:

— Заступница, матушка! заступница!

Всѣ какъ будто вдругъ поняли, что между землей и небомъ не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита отъ обидъ, отъ рабской неволи, отъ тяжелой, невыносимой нужды, отъ страшной водки“ (Мужики).

Люди и въ своемъ паденіи и униженіи сохраняютъ черты образа и подобія Божьяго. И нужно вѣрить людямъ, вѣрить, что человѣкъ не можетъ совершенно перестать быть человѣкомъ. „Надо всѣмъ вѣрить, иначе жить нельзя“, говоритъ Елена Андреевна, въ пьесѣ „Дядя Ваня“.

Этотъ вопросъ о необходимости вѣры въ человѣка разработанъ Чеховымъ въ одномъ изъ его позднѣйшихъ произведеній, озаглавленномъ „Разсказъ старшаго садовника“.

Въ оранжереѣ, во время распродажи цвѣтовъ, зашелъ разговоръ объ оправдательныхъ приговорахъ присяжныхъ засѣдателей.

Садовникъ Михаилъ Карловичъ сказалъ:

— „Что касается меня, господа, то я всегда съ восторгомъ встрѣчаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорятъ „невиновень“, а, напротивъ, чувствую удовольствіе. Даже когда моя совѣсть говоритъ мнѣ, что, оправдавъ преступника, присяжные сдѣлали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа: если судьи и присяжные болѣе вѣрятъ *человѣку*, чѣмъ уликамъ, вещественнымъ доказательствамъ и рѣчамъ, то развѣ это *вѣра въ человѣка* сама по себѣ не выше всякихъ житейскихъ соображеній? Это вѣра доступна только немногимъ, кто понимаетъ и чувствуетъ Христа“.

Садовникъ разсказалъ одну старинную легенду о томъ, какъ судьи оправдали человѣка, уличеннаго въ убійствѣ. Свой разсказъ онъ закончилъ словами:

— „Убійцу отпустили на всѣ четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей въ несправедливости. И Богъ, за такую вѣру въ человѣка, простилъ грѣхи всѣмъ жителямъ города. Онъ радуется, когда вѣруютъ, что человѣкъ. Его образъ и подобіе, и скорбитъ, если, забывая о человѣческомъ достоинствѣ, о людяхъ судятъ хуже, чѣмъ о собакахъ. Пусть оправдательный приговоръ принесетъ жителямъ города вредъ, но зато, посудите, какое благотворное вліяніе имѣла на нихъ эта вѣра въ человѣка, вѣра, которая, вѣдь, не остается мертвой; она воспитываетъ въ насъ великодушныя чувства и всегда побуждаетъ любить и уважать cadaго человѣка. Cadaго. А это важно!“

Нужно любить и уважать каждого человека. Уважение человеческого достоинства въ каждомъ человекѣ есть необходимое предположеніе юридическаго равенства, одного изъ важнѣйшихъ принциповъ права. *Юридическое равенство* — второй идеалъ права, завѣщанный почившимъ писателемъ русскому обществу.

Въ русскомъ обществѣ нѣтъ уваженія къ человеческому достоинству каждого человека, нѣтъ и юридическаго равенства.

Одного юридическаго равенства не достаточно. Гдѣ всѣ безправны, тамъ всѣ равны; значитъ, юридическое равенство существуетъ и среди рабовъ. Но рабство само по себѣ противорѣчитъ идеѣ человеческой личности. Человекъ, созданный по образу и подобию Божьему, долженъ быть существомъ свободнымъ.

Человѣку должна быть предоставлена свобода физическихъ дѣйствій и свобода въ выраженіи своихъ чувствъ и мыслей. Такая свобода есть необходимое предположеній тѣхъ *личныхъ правъ*, или *правъ гражданской свободы*, которыя являются вѣнцомъ долговременныхъ усилій исторіи права культурныхъ народовъ: неприкосновенности личности, неприкосновенности собственности, жилища, частной корреспонденціи, свободы передвиженій, труда и занятій, свободы общенія, свободы совѣсти, мысли и слова.

Существуетъ ли уваженіе къ свободѣ личности въ русскомъ обществѣ, изображенномъ Чеховымъ?

На этотъ вопросъ возможенъ такой отвѣтъ: русское общество не знаетъ свободы и не уважаетъ ее.

По словамъ Полознева въ разсказѣ „Моя жизнь“, русскіе люди „свободы боятся и ненавидятъ ее, какъ врага“.

Вопроса объ отдѣльных видахъ свободы касается Чеховъ въ разныхъ произведеніяхъ. Таковъ одинъ изъ раннихъ его разсказовъ, озаглавленный „Броженіе умовъ“.

Два обывателя, проходившіе по базарной площади, посмотрѣли вверхъ, остановились и заспорили о томъ, гдѣ сѣли пролетѣвшіе скворцы. Другіе прохожіе, увидя спорящихъ, остановились и начали тоже глядѣть вверхъ. Вскорѣ на площади образовалась толпа. Появилась полиція.

— „Господа, разойдитесь! Васъ честью просятъ!“

— Честью просить а самъ руками тычетъ. Не махайте руками. Вы хоть и господинъ начальникъ, а не имѣете такого полного права рукамъ волю давать.

— Почему такая толпа? За какой надобностью?... Рразойдитесь. Господа, честью прошу! Честью просить тебя, дубина!

— Мужиковъ толкай, а благородныхъ не смѣй трогать! Не прикасайся!

— Нешто это люди? Нешто ихъ, чертей, примешь добрымъ словомъ? Сидоровъ, сбѣгай-ка за Акимомъ Данилычемъ...

Показался Акимъ Данилычъ. Что-то жуя и вытирая губы, онъ взревѣлъ и врѣзался въ толпу.

— Пожарные, приготовьсь! Рразойдитесь!... Пожарные, лей!... Разойдитесь! Сдай назадъ, чтобъ тебя черти взяли... Сидоровъ, запиши-ка его чорта..."

Когда въ трактирѣ заигралъ новый органъ, толпа ахнула и повалила къ трактиру, а черезъ часть городъ былъ недвижимъ и тихъ. Вечеромъ того же дня Акимъ Данилычъ писалъ донесеніе начальству:

„Я же сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать слабый человекъ, кромѣ добра ближнему ничего не желающій, и, сидя теперь среди домашняго очага своего, благодарю со слезами Того, Кто не допустилъ до кровопролитія. Виновные, за недостаткомъ уликъ, сидятъ пока взаперти, но думаю ихъ выпустить черезъ недѣлку. Отъ невѣжества преступили заповѣдь“.

Этотъ небольшой рассказъ, рисующій картинку, знакомыя русскому обывателю, можетъ служить прекрасной иллюстраціей къ постановленіямъ нашего законодательства о личной свободѣ и о свободѣ собраній. Наше законодательство въ весьма слабой степени ограждаетъ подданныхъ отъ произвольныхъ ограниченій свободы. — „Виновные, за недостаткомъ уликъ, сидятъ пока взаперти“, — пишетъ Акимъ Даниловичъ. Классическая фраза, кратко и ясно характеризующая административный произволъ! Наше законодательство совершенно отрицаетъ свободу собраній. Достаточно нѣсколькимъ прохожимъ остановиться на улицѣ, и сейчасъ раздается крикъ — „разойдитесь!“ А вслѣдъ за крикомъ — „разойдитесь!“ дается воля рукамъ.

Въ разсказѣ „Перекасти поле“ Чеховъ касается вопроса о свободѣ передвиженія, свободѣ труда и свободѣ вѣры.

Герой этого разсказа, выкрестъ Александръ Ивановичъ, убѣжалъ изъ родительскаго дома изъ Могилевской губерніи въ Смоленскъ и поступилъ въ подмастерья къ своему двоюродному брату, но полиція узнала, что онъ безъ паспорта и отправила его по этапу назадъ къ отцу. О бывшихъ своихъ единовѣрцахъ Александръ Ивановичъ говоритъ: „Вообще весь народъ тамъ бѣдный и суевѣрный, ученія не любитъ, потому что образованіе, понятно, отдаляетъ человѣка отъ религіи.. Фанатики страшные... Мои родители ни за что не хотѣли учить меня, а хотѣли, чтобы я тоже занимался торговлей и не зналъ ничего, кромѣ талмуда.“

То, что здѣсь говорится о евреяхъ, примѣнимо и къ русскимъ людямъ.

Паспортная система, стѣсняющая свободу передвиженія, обязательна и для русскихъ людей. И къ этой системѣ привыкли русскіе обыватели.

„Когда Старцевъ (разсказъ „Іонычъ“) пробовалъ заговорить даже съ либеральнымъ обывателемъ, наприимѣръ, о томъ, что человѣчество, слава Богу, идетъ впередъ и что современемъ оно будетъ обходиться безъ паспортовъ и безъ смертной казни, то обыватель глядѣлъ на него искоса и недовѣрчиво спрашивалъ: „Значить, тогда всякій можетъ рѣзать на улицѣ кого угодно?“

Не привыкли русскіе обыватели уважать и свободу вѣры.

Въ разсказѣ „Степь“ есть такая картинка:

„Всѣ ѣли изъ котла, Пантелѣй же сидѣлъ въ сторонѣ особнякомъ и ѣлъ кашу изъ деревянной чашечки. Егорушка спросилъ тихо у Степки:

— Зачѣмъ это дѣдъ особо сидитъ?

— Онъ старой вѣры, — отвѣтили шопотомъ Степка и Вася, и при этомъ они такъ глядѣли, какъ будто говорили о слабости или тайномъ пороѣ.“

„Якова Ивановича (въ разсказѣ „Убііство“) не любили, потому что, когда кто нибудь вѣруетъ не такъ, какъ всѣ, то это неприятно волнуетъ даже людей равнодушныхъ къ вѣрѣ.“

Не привыкъ русскій обыватель уважать свободу труда.

Сынъ архитектора Полозневъ (въ разсказѣ „Моя жизнь“) сдѣлался маляромъ. Это всѣмъ показалось неприличнымъ. Когда онъ возвращался съ работы домой, то всѣ приказчики, мальчишки и ихъ хозяева пускали вслѣдъ разныя замѣчанія, насмѣшливыя и злобныя. „А одинъ купецъ-рыбникъ, сѣдой старикъ, говоритъ Полозневъ, загородилъ мнѣ дорогу и сказалъ, глядя на меня со злобой:

— Не тебя, дурака, жалко! Отца твоего жалко!

А мои знакомые при встрѣчахъ со мной почему то конфузились. Одни смотрѣли на меня, какъ на чудака и шута, другимъ было жаль меня, третьи же не знали, какъ относиться ко мнѣ“...

Однажды къ Полозневу явился околоточный надзиратель и передалъ приказъ губернатора явиться къ нему.

— „Васъ у губернатора, должно наказывать будутъ, говорилъ мясникъ Прокопій, у котораго жилъ Полозневъ. — Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, и для каждаго званія есть своя наука. А вы не держитесь своей науки, и этого вамъ нельзя дозволить“.

Полозневъ явился въ назначенный часъ къ губернатору.

— „Господинъ Полозневъ, я просилъ васъ явиться, — началъ губернаторъ, держа въ рукѣ какое то письмо и раскрывая ротъ широко и круто, какъ буква о, — я просилъ васъ явиться, чтобъ объявить вамъ слѣдующее: вашъ уважаемый батюшка письменно и устно обращался къ губернскому предводителю дворянства, прося его вызвать васъ и поставить вамъ на видъ все несоотвѣтствіе поведенія вашего со званіемъ дворянина, которое вы имѣете честь носить. Его превосходительство Александръ Павловичъ, справедливо полагая, что поведеніе ваше можетъ служить соблазномъ, и находя, что тутъ одного убѣжденія съ его стороны было бы недостаточно, а необходимо серьезное административное вмѣшательство, представилъ мнѣ вотъ въ этомъ письмѣ свои соображенія относительно васъ, которыя я раздѣляю.... Надѣюсь, что вы оцѣните деликатность почтеннаго Александра Павловича, который обратился ко мнѣ не официально, а частнымъ образомъ. Я также пригласилъ васъ не официально, и говорю съ вами не какъ губернаторъ, а какъ искренній почитатель вашего родителя. Итакъ, прошу васъ — или измѣнить ваше пове-

деніе и вернуться къ обязанностямъ, приличнымъ вашему званію или же, во избѣжаніе соблазна, переселиться въ другое мѣсто гдѣ васъ не знаютъ и гдѣ вы можете заниматься, чѣмъ вамъ угодно. Въ противномъ же случаѣ я долженъ буду принять крайнія мѣры“.

Наконецъ, не знаютъ и не уважаютъ русскіе люди свободы слова. Этому вопроса о свободѣ слова касается Чеховъ въ одномъ изъ наиболѣе раннихъ своихъ разсказовъ „Въ банѣ“.

Цирульникъ Михайло въ банѣ ставитъ банки толстому бѣло-тѣлому господину и ведетъ съ нимъ разговоръ о невѣстахъ...

— „Невѣста нынче пошла все непутящая, несмысленная... Прежняя невѣста желала выйти за человѣка, который солидный, строгій, съ капиталомъ, который все обсудить можетъ, религію помнить, а нынѣшняя льстится на образованность. Подавай ей образованнаго, а господина чиновника, или кого изъ купечества и не показывай—осмѣть. Образованность разная бываетъ... Иной образованный, конечно, до высокаго чина дослужится, а другой весь вѣкъ въ писцахъ просидитъ, похоронитъ не на что. Мало ли ихъ нынче такихъ? Къ намъ сюда ходитъ одинъ... образованный. Изъ телеграфистовъ... Все превзошелъ, депеши выдумывать можетъ, а безъ мыла моется. Смотрѣть жалко!

— Бѣденъ, да честенъ! — донесся съ верхней полки хриплый басъ.—Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная съ бѣдностью, свидѣтельствуетъ о высокихъ качествахъ души. Невѣжа!

Михайло искоса поглядѣлъ на верхнюю полку. Тамъ сидѣлъ и билъ себя вѣникомъ тощій человѣкъ... Лица его не было видно, потому, что все оно было покрыто свѣсившимися внизъ длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрѣнія, устремленные на Михайлу.

— Изъ этихъ... изъ длинноволосыхъ! — мигнулъ глазомъ Михайло.—Съ идеями... Страсть, сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всѣхъ“.

Дальнѣйшее поведеніе длинноволосаго окончательно убѣдило цирульника, что это человѣкъ вреднаго образа мыслей. Цирульникъ началъ разсказывать толстому господину про одного обра-

зованнаго жениха „изъ писателей“, который ходилъ въ трактиръ и все страдалъ въ газетѣ пропечатать.

— „Это клевета на печать! — слышался хриплый басъ съ той же полки. — Дрянь!

— Вы, стало быть, тоже изъ писателей? — спросилъ Михайло.

— Я хоть и не писатель, отвѣтилъ длинноволосый, но не смѣй говорить о томъ, чего не понимаешь. Писатели были въ Россіи многіе и пользу принесшіе. Они просвѣтили землю, и за это самое мы должны относиться къ нимъ не съ поруганьемъ, а съ честью. Говорю я о писателяхъ свѣтскихъ, такъ равно и духовныхъ.

— Духовныя особы не станутъ такими дѣлами заниматься.

— Тебѣ, невѣжѣ, не понять. Димитрій Ростовскій, Иннокентій Херсонскій, Филаретъ Московскій и прочіе другіе святители церкви своими твореніями достаточно способствовали просвѣщенію“.

Михайло покосился на своего противника, покрутилъ головой, крикнулъ и, затѣмъ, вышелъ въ предбанникъ.

— „Сейчасъ выйдетъ изъ бани длинноволосый, — обратился онъ къ малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло, — такъ ты тово... погляди за нимъ. Народъ смущаетъ... Съ идеями... За Назаромъ Захарычемъ сбѣгать бы...

— Ты скажи мальчикамъ.

— Сейчасъ выйдетъ сюда длинноволосый, — зашепталъ Михайло, обращаясь къ мальчикамъ, стоявшимъ около одежды. — Народъ смущаетъ. Поглядите за нимъ да сбѣгайте къ хозяйкѣ, чтобъ за Назаромъ Захарычемъ послали — протоколъ составить. Слова разныя произносить... Съ идеями...“.

Унтеръ Пришибеевъ въ разсказѣ того же названія придерживается взглядовъ цирюльника Михайла.

На берегу найденъ былъ утопленникъ. Унтеръ Пришибеевъ требовалъ, чтобы урядникъ донесъ объ этомъ мировому судѣ. А урядникъ говоритъ: „мировому судѣ такіе дѣла неподсудны“. „Отъ этихъ самыхъ словъ, объясняетъ унтеръ Пришибеевъ на судѣ, меня даже въ жаръ бросило... Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказалъ! Онъ опять эти самыя слова... Я къ нему. Какъ же, говорю, ты можешь такъ объяснять про гос-

подина мирового судью? Ты, полицейскій урядникъ, да противъ власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господинъ мировой судья, ежели пожелаютъ, могутъ тебя за такія слова въ губернское жандармское управленіе по причинѣ твоего неблагонадежнаго поведенія? Да ты знаешь, говорю, куда за такія политическія слова тебя угнать можетъ господинъ мировой судья? А старшина говорить: „Мировой, говоритъ, дальше своихъ предѣловъ ничего обозначить не можетъ. Только малыя дѣла ему подсудны“. Такъ и сказали. всѣ слышали... Какъ же, говорю, ты смѣешь власть унижать? Ну, говорю, со мной не шути шутокъ, а то дѣло, братъ, плохо. Бывало, въ Варшавѣ, или когда въ швейцарахъ былъ въ мужской классической прогимназіи, то какъ заслышу какія неподходящія слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма; „поди, говорю, сюда. кавалеръ“, — и все ему докладываю“...

Наконецъ, интеллигентный человѣкъ учитель гимназіи Бѣликовъ раздѣляетъ взгляды цирульника Михайла и унтера Пришибеева. Бѣликовъ пришелъ къ своему сослуживцу Коваленко съ цѣлью предостеречь его.

— „Вы ходите, сказалъ Бѣликовъ, въ вышитой сорочкѣ, постоянно на улицѣ съ какими то книгами, а теперь вотъ еще велосипедъ, узнаетъ директоръ, потомъ дойдетъ до попечителя... Что же хорошаго? .

— Что я и сестра катаемся на велосипедѣ, никому нѣтъ до этого никакого дѣла!—сказалъ Коваленко и побагровѣлъ.—А кто будетъ вмѣшиваться въ мои домашнія и семейныя дѣла. того я пошлю къ чертямъ собачьимъ.

Бѣликовъ поблѣднѣлъ и всталъ.

— Если вы говорите со мной такимъ тономъ, то я не могу продолжать,—сказалъ онъ.—И прошу васъ никогда такъ не выражаться въ моемъ присутствіи о начальникахъ. Вы должны съ уваженіемъ относиться къ властямъ.

— А развѣ я говорилъ что дурное про властей?—спросилъ Коваленко, глядя на него со злобой.—Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ. Я честный человѣкъ и съ такимъ господиномъ, какъ вы, не желаю и разговаривать. Я не люблю фискаловъ.

Бѣликовъ нервно засуетился и сталъ одѣваться быстро, съ выраженіемъ ужаса на лицѣ...

— Можете говорить, что вамъ угодно,—сказалъ онъ, выходя изъ передней на площадку лѣстницы.—Я долженъ только предупредить васъ: быть можетъ, насъ слышалъ кто нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего нибудь не вышло, я долженъ буду доложить господину директору содержаніе нашего разговора... въ главныхъ чертахъ. Я обязанъ это сдѣлать“. (Человѣкъ въ футлярѣ).

Гдѣ признается свобода личности, тамъ считается дозволеннымъ все, что прямо не запрещено закономъ. Въ русскомъ обществѣ встрѣчаемъ совершенно противоположный взглядъ: все запрещено, что прямо не разрѣшено.

Такого взгляда придерживается напримѣръ, извѣстный уже намъ унтеръ Пришибеевъ въ рассказѣ того же названія.

„Иду это я, говорить онъ на судѣ, третьяго числа съ женой Анфисой тихо, благородно, смотрю—стоитъ на берегу куча разнаго народа людей. По какому полному праву тутъ народъ собрался? спрашиваю. Зачѣмъ? Нешто въ законѣ сказано, чтобы народъ табуномъ ходилъ? Кричу: разойдись! Сталъ расталкивать народъ, чтобы расходились по домамъ...“ По показанію старосты, унтеръ Пришибеевъ „по избамъ ходилъ, приказывалъ, чтобы пѣсней не пѣли и чтобы огней не жгли. Закона, говоритъ, такого нѣтъ, чтобы пѣсни пѣть“.—„Нешто можно позволять, говорить дальше Пришибеевъ, чтобы народъ безобразилъ? Гдѣ это въ законѣ написано, чтобы народъ волю давать“.

Такихъ же взглядовъ придерживается и учитель Бѣликовъ (въ рассказѣ „Человѣкъ въ футлярѣ“). „Для него были ясны только циркуляры и газетныя статьи, въ которыхъ запрещалось что нибудь. Когда въ циркулярѣ запрещалось ученикамъ выходить на улицу послѣ девяти часовъ вечера, или въ какой нибудь статьѣ запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, опредѣленно; запрещено—и баста. Въ разрѣшеніи же и позволеніи скрывался для него всегда элементъ сомнительный, что то недосказанное и смутное“.

Взгляды унтера Пришибеева и учителя Бѣликова, осуществленные по практикѣ, угнетаютъ общество. Односельчане жалуются, что отъ унтера Пришибеева житья нѣтъ. „Какъ пришелъ со службы, такъ съ той поры хоть изъ села бѣги. Замучилъ всѣхъ...“

Жить съ нимъ никакъ невозможно! Съ образами ли ходимъ, свадьба ли, или, положимъ, случай какой, вездѣ онъ кричитъ шумить, все порядки вводить. Ребятамъ уши деретъ, за бабами подглядываетъ, чтобъ чего не вышло...“.

И учитель Бѣликовъ все наблюдаетъ за тѣмъ, какъ бы чего не вышло? Его сослуживецъ учитель Буркинъ рассказываетъ:

„Когда въ городѣ разрѣшали драматическій кружокъ, или читальню или чайную, то онъ покачивалъ головой и говорилъ тихо:

— Оно конечно, такъ то такъ, все это прекрасно, да какъ бы чего не вышло.

Всякаго рода нарушенія, уклоненія, отступленія отъ правилъ приводили его въ уныніе, хотя, казалось бы, какое ему дѣло? Если кто изъ товарищей опаздывалъ на молебенъ, или доходили слухи о какой либо проказѣ гимназистовъ, или видѣли классную даму поудно вечеромъ съ офицеромъ, то онъ очень волновался и все говорилъ, какъ бы чего не вышло. А на педагогическихъ совѣтахъ онъ просто угнеталъ насъ своею осторожностью, мнительностью и своими чисто-футлярными соображеніями на счетъ того, что вотъ де въ мужской и женской гимназіяхъ молодежь ведетъ себя дурно, очень шумить въ классахъ.—ахъ, какъ бы не дошло до начальства, ахъ, какъ бы чего не вышло,—и что если бы изъ второго класса исключить Петрова, а изъ четвертаго—Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьемъ, своими темными очками на блѣдномъ маленькомъ лицѣ, —знаете, маленькомъ лицѣ, какъ у хорька,—онъ давилъ насъ всѣхъ, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову баллъ по поведенію, сажали ихъ подъ арестъ и въ концѣ концовъ исключили и Петрова, и Егорова... Мы, учителя, боялись его. И даже директоръ боялся. Вотъ подите же, наши учителя народъ все мыслящій, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневѣ и Щедринѣ, однако же этотъ человѣкъ, ходившій всегда въ калошахъ и съ зонтикомъ, держалъ въ рукахъ всю гитназію цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ. Да что гимназію? Весь городъ! Наши дамы по субботамъ домашнихъ спектаклей не устраивали, боялись, какъ бы онъ не узналъ; и духовенство стѣснялось при немъ кушать скоромное и играть въ карты. Подъ вліяніемъ такихъ людей, какъ Бѣликовъ, за послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ въ на-

шемъ городѣ стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бѣднымъ, учить грамотѣ“.

Свобода личности способствуетъ воспитанію въ гражданахъ тѣхъ качествъ, которыя служатъ источникомъ общественнаго прогресса,—широкаго личнаго почина, предприимчивости, энергіи, самодѣтельности. Наоборотъ, стѣсненіе свободы ведетъ къ приниженности, придавленности, робости и препятствуетъ развитію общественныхъ силъ.

Свободы личности нѣтъ въ русскомъ обществѣ. Русскіе люди на каждомъ шагѣ встрѣчаютъ разнообразныя стѣсненія, ограниченія, запрещенія; они привыкли къ этому порядку и боятся всего. При такихъ условіяхъ общественной жизни русскіе люди, „вначалѣ такіе страстные, смѣлые, благородные, вѣрующіе, къ 30—35 годамъ становятся уже полными банкротами“, они утомляются и въ бездѣльи проводятъ дни и ночи, дрожа отъ страха передъ завтрашнимъ днемъ, или же запираются „въ свою раковину, дѣлаютъ свое маленькое дѣло“ и мало по малу превращаются въ „людей въ футлярѣ“ (Разсказъ неизвѣстнаго человѣка, Ивановъ, Человѣкъ въ футлярѣ).

Если мы эту черту—крайнее стѣсненіе свободы—присоединимъ къ знакомымъ уже намъ чертамъ русской юридической жизни—самоуправству, произволу и униженію человѣческаго достоинства, то для насъ еще понятнѣе сдѣлается тотъ крикъ отчаянія, который невольно вырывается изъ устъ многихъ русскихъ людей въ сочиненіяхъ Чехова: такъ больше жить нельзя! И вслѣдъ за этимъ невольнымъ крикомъ невольно вырывается вопросъ: какъ же жить? что дѣлать? Частичные отвѣты на этотъ вопросъ намъ уже извѣстны: нужно уважать законъ, нужно уважать человѣческую личность въ каждомъ человѣкѣ. Сочиненія Чехова, въ которыхъ изображается крайнее стѣсненіе свободы русскаго человѣка, подсказываютъ еще одинъ частичный отвѣтъ на тотъ же большой вопросъ: нужно уважать свободу личности. Дайте свободу личности, не страшитесь свободы, стремитесь къ ней, она необходима человѣку. безъ нея жить нельзя,—вотъ тотъ выводъ, который должны сдѣлать читатели Чехова.

Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ „Крыжовникъ“ Чеховъ прямо формулируетъ этотъ выводъ: „принято говорить, что человѣку нужно только три аршина земли. Но вѣдь три аршина нужны трупу, а не человѣку... Человѣку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шаръ, вся природа, гдѣ на просторѣ онъ могъ бы проявить всѣ свойства и особенности своего свободного духа“.

Полный просторъ для проявленія всѣхъ свойствъ и особенностей свободного человѣческаго духа въ области юридическихъ отношеній ведетъ къ признанію за людьми личныхъ правъ, или правъ гражданской свободы. *Гражданская свобода* — вотъ третій идеалъ права, къ которому должны стремиться изображенные въ сочиненіяхъ Чехова русскіе люди.

Я привелъ изъ сочиненій А. П. Чехова рядъ фактовъ, характеризующихъ юридическую жизнь русскаго народа. Въ одномъ изъ своихъ сочиненій — „Островъ Сахалинъ“ — Чеховъ, какъ публицистъ, прямо указываетъ связь между разсказываемыми имъ фактами и постановленіями нашего законодательства о ссыльныхъ. Въ разсказахъ и пьесахъ нѣтъ и не можетъ быть такихъ непосредственныхъ указаній со стороны автора. Писатель-художникъ изображаетъ жизнь такую, какая она есть, онъ не входитъ въ обсужденіе вопроса о томъ, какая связь между изображаемыми имъ картинами общественной жизни и положительнымъ правомъ. Юриста, читающаго произведенія художественной литературы, этотъ вопросъ интересуетъ прежде всего. Для его разрѣшенія необходимо сопоставить факты, характеризующіе юридическую жизнь, съ нормами положительнаго права.

Есть факты, противорѣчащіе современному русскому законодательству. Это факты неправомѣрные. Таковъ, на примѣръ, фактъ самоуправства барыни Кушкиной въ разсказѣ „Переполюхъ“; таковъ фактъ оскорбленія регентомъ Градусовымъ своего бывшаго пѣвчаго въ разсказѣ „Изъ огня да въ полымя“ и др. Но Кушкина, совершивъ запрещенное закономъ дѣяніе, увѣрена въ своей правотѣ. Градусовъ, приговоренный мировымъ судьей къ наказанію, тоже убѣжденъ въ своей невинности. Понятія Кушки-

ной и Градусова о дозволенномъ и недозволенномъ совершенно расходятся съ постановленіями современнаго законодательства. Но эти понятія находятся въ полномъ согласіи съ юридическими нормами крѣпостной Россіи, въ которой существовало крѣпостное право, какъ юридической институтъ, населеніе дѣлилось на благородныхъ и подлый народъ, а суда равнаго не было.

Нѣкоторые изъ рассказанныхъ Чеховымъ фактовъ соотвѣствуютъ современному русскому законодательству. Это факты правомѣрные. Въ полномъ соотвѣствіи съ постановленіями современнаго русскаго законодательства находятся факты униженія человѣческаго достоинства мужика, мелкаго чиновника, приказчика, ремесленнаго ученика, домашней прислуги, а равно факты стѣсненія свободы русскаго человѣка. Вѣдь современное законодательство о крестьянахъ покоится на началахъ административной опеки, современное русское законодательство допускаетъ въ довольно значительномъ объемѣ дисциплинарную власть начальника надъ подчиненными чиновниками, хозяина надъ служащими; современное русское законодательство почти совершенно не признаетъ правъ гражданской свободы. Это современное русское законодательство является переживаніемъ того прошлаго, когда крѣпостное право существовало, какъ юридическій институтъ.

Итакъ, факты, характеризующіе юридическую жизнь русскаго народа въ сочиненіяхъ Чехова, находятся въ соотвѣстствіи съ тѣми юридическими нормами—отмѣненными или дѣйствующими, которыя обозначаются терминомъ „крѣпостное право“. Юридическая жизнь, въ основѣ которой лежитъ крѣпостное право, — жизнь пошлая, грязная, бессмысленная. Лучшіе русскіе люди тяготятся ею и мечтаютъ о новой жизни—прекрасной, высокой, святой. Новая жизнь наступитъ тогда, когда окончательно падетъ крѣпостное право, когда крѣпостная Россія окончательно уступитъ мѣсто Россіи раскрѣпощенной, основными устоями которой будутъ—законность, юридическое равенство, гражданская свобода. Знаменательно, что Чеховъ въ своихъ послѣднихъ предсмертныхъ произведеніяхъ касается именно этого вопроса объ окончательномъ паденіи крѣпостнаго права.

Въ рассказѣ „Невѣста“ символомъ крѣпостнаго права является бабушкинъ домъ. Этотъ бабушкинъ домъ, какъ страшный кош-

маръ, давить Сашу и Надю, людей, мечтающихъ о новой жизни. „Вѣдь будетъ же время, мечтаетъ Надя, когда отъ бабушкина дома, гдѣ все такъ устроено, что четыре прислуги иначе жить не могутъ, какъ только въ одной комнатѣ, въ подвальномъ этажѣ, въ нечистотѣ,—будетъ же время, когда отъ этого дома не останется и слѣда, и о немъ забудутъ, никто не будетъ помнить“.

Въ пьесѣ „Вишневый садъ“ о новой жизни мечтаютъ Аня и Трофимовъ, а вишневый садъ является символомъ крѣпостного права. „Подумайте Аня, говоритъ Трофимовъ: вашъ дѣдъ, пра-дѣдъ и всѣ ваши предки были крѣпостники, владѣвшіе живыми душами, и неужели съ каждой вишни въ саду, съ cadaго листка, съ cadaго ствола не глядятъ на васъ человѣческія существа, неужели вы не слышите голосовъ... О, это ужасно, садъ вашъ страшенъ, и когда вечеромъ или ночью проходишь по саду, то старая кора на деревьяхъ отсвѣчиваетъ тускло и, кажется, вишневые деревья видятъ во снѣ то, что было сто-двѣсти лѣтъ назадъ, и тяжелыя видѣнія томятъ ихъ“. Но настанетъ время, когда и слѣда не останется отъ вишневаго сада. Ермолай Лопахинъ уже купилъ вишневый садъ, то самое имѣніе, „гдѣ отецъ и дѣдъ его были рабами, гдѣ ихъ не пускали даже на кухню. Ермолай Лопахинъ хватить топоромъ по вишневому саду, упадутъ на землю деревья“. На мѣстѣ вишневаго сада будутъ выстроены дачи, а „внуки и правнуки увидятъ тутъ новую жизнь“.

Цѣна 75 коп.

ТОГО-ЖЕ АВТОРА:

Университетъ въ сочиненіяхъ А. П. Чехова.

Цѣна 25 коп.

Stanford University Libraries

3 6105 124 450 045



Stanford University Libr
Stanford, California

Return this book on or before date

--	--	--

